

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (НИУ ВШЭ)

УДК 316.323

№ государственной регистрации АААА-А17-1170613500352-1

Инв. №

УТВЕРЖДАЮ
Проректор НИУ ВШЭ
канд. экон. наук
М. М. Юдкевич
«___» _____ 2017 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме

СПОНТАННОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ:
ОТ ЭПИЗОДОВ КОММУНИКАЦИИ К СТРУКТУРАМ ПОРЯДКА

(заключительный)

ТЗ-22

Руководитель темы
зав. НУЛ «Центр фундаментальной социологии»,
д-р социол. наук

А. Ф. Филиппов

Москва 2017

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:

д. социол. н.	_____	А.Ф. Филиппов
	подпись, дата	(введение, разделы 4, 5, 6, заключение)

Исполнители темы:

Ведущий научный сотрудник, к. филос. н.	_____	С.П. Баньковская
	подпись, дата	(раздел 7, заключение)

Ведущий научный сотрудник, к. юр. н.	_____	А.В. Марей
	подпись, дата	(раздел 2)

Ведущий научный сотрудник, к. филос. н.	_____	А.Н. Саликов
	подпись, дата	(введение)

Ведущий научный сотрудник, к. филос. н.	_____	И.В. Троцук
	подпись, дата	(раздел 1)

Старший научный сотрудник к. социол. н.	_____	А.М. Корбут
	подпись, дата	(разделы 1, 8)

Старший научный сотрудник	_____	М.Г. Пугачева
	подпись, дата	(список использованных источников)

Научный сотрудник	_____	О.В. Кильдюшов
	подпись, дата	(раздел 3)

РЕФЕРАТ

Отчет 123 с., 1 ч., 172 источника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК, СПОНТАННОСТЬ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ГОСУДАРСТВО, СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЭПИЗОДЫ КОММУНИКАЦИИ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ, ЛОКАЛЬНОЕ

Цель работы: произвести большую инвентаризацию теоретических ресурсов, имея в виду прежде всего их пригодность для работы с новыми формами социального опыта, с одной стороны, и теоретической разработанностью, с другой стороны. Теоретически развить и разработать наиболее многообещающие концепты, относящиеся как к текущим формам социальной жизни, так и к устойчивым образованиям.

Задача работы: предложить новые убедительные трактовки понятий «власть», «государство», «толпа», «чужой», «эпизод социального взаимодействия», «спонтанный порядок». Связать эти трактовки с уже полученными прежде результатами и перейти к построению более прагматичной, ориентированной на исследование действий (фронетической) социальной науки.

Используемые методы: исторический анализ философских, юридических и социологических источников, обобщение материалов эмпирических исследований и теоретическое конструирование понятий.

Основные результаты работы состоят в следующем.

Во-первых, работа над понятиями и теоретическими схемами приведена в соответствие не только с источниками, но и с основополагающими интуициями социальной жизни. К таким интуициям в настоящее время относятся: возрастающая, несмотря на глобализацию, роль государства; умножение и увеличение многообразия потоков и взаимодействий, ставящих всевластие государства под сомнением; новое значение спонтанных, не опосредованных государством порядков в социальной жизни; международно-правовая обусловленность государства; новое значение толп в социальной жизни. Показано, что теоретическая социология свидетельствует не только о логике понятий, но и об актуальном состоянии социальности.

Во-вторых, продемонстрирована принципиальная эпизодичность социальной жизни. Тот своеобразный «социальный клей», без которого не работают ни власть, ни авторитет, мы обнаруживаем не только в доверии (результат прошлого года), но и во множестве мелких эпизодов социального взаимодействия, совершающегося помимо, за пределами больших социальных форм. Толпящиеся, покидающие прочные формы, спонтанно орга-

низующиеся люди — это не просто типичные феномены современной жизни, но именно ее цементирующий элемент.

В-третьих, показана необходимость радикальной смены угла зрения. Рост роли государства означает не возвращение к традиционной для социологии точки зрения, согласно которой социальная жизнь организуется в национальных границах, но окончательное размежевание с ней, поскольку международно-правовые порядки в эпоху глобализации вынуждают государство к такого рода внутренней активности, которая немислима была раньше, при его неоспариваемой суверенности.

В-четвёртых, показана взаимосвязь пространственной и временной составляющей социальности. Учредительная власть народа-на-территории и ритмический цикл революции и реакции не могут рассматриваться по отдельности. Эпизоды коммуникации всегда совершаются где-то и кем-то.

Таким образом, нами создаётся полноценная теоретическая база фронетической социальной науки, которой будет посвящён проект следующего года.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1 Глобальность, государство и «социальный клей».....	11
2 К истории понятия власти.....	17
3 Утопия спонтанного порядка в ранней теории институтов (на примере британской моральной философии и политэкономии XVIII в.).....	22
4 Государство модерна в международно-правовых порядках	37
5 Великая война и международное право	38
6 Революция и реакция. Социологическое значение диктатуры	64
6.1 Время, скорость и направление реакции: темпоральность в отсутствие прогресса	64
6.2 Социологический смысл диктатуры. Суверенность спонтанного порядка	69
7 Политическая социология и общая социология Макса Вебера	78
7.1 Политическая история и научная биография.....	78
7.2 К политической социологии: основные понятия.....	82
8 Темпоральная феноменология Инакости у А. Шюца (или рождение феноменологического социологизма).....	87
8.1 Рождение нового «Чужака» у Шюца: от эгологизма к интерсубъективности	87
8.2 «Чужак» против «культурного образца группы» — функционалистский итог	89
8.3 «Вернувшийся домой» как «свой чужак»	92
9 Спонтанное сообщество: структуры порядка в толпе.....	95
9.1 Толпа как социологический феномен	95
9.2 Толпа как повседневный феномен	98
9.3. Методы производства порядка в толпе	102
9.3.1 Общие свойства толп.....	102
9.3.2 Скорость и траектория	103
9.3.3 Следование за другими	105
9.3.4 Остановки и торможения	106
9.4 Толпа как спонтанное сообщество.....	110
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	112
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	114

ВВЕДЕНИЕ

Наше исследование посвящено двум взаимодополнительным аспектам социальности: 1) процессам ее постоянного производства и воспроизводства и 2) устойчивым образованиям, «островкам порядка» в потоке изменений. Все социальное существует в потоках взаимодействий (коммуникаций), переплетенных между собой и непредсказуемых, особенно в ситуации позднего модерна, с его развитием электронной связи и мгновенных сообщений, в глобальных и малых сетях, в повседневной мобильности. Язык описаний, которым мы пользуемся для того, чтобы схватить в понятиях этот опыт, все еще очень метафоричен, он больше сообщает нашей интуиции, чем удовлетворяет требованиям строгой науки. Конечно, с метафорами и здесь происходит то же, что обычно: от все более частого употребления они, так сказать, иссушаются, изнашиваются, используются все более конвенционально и все больше напоминают понятия, которые связаны с другими понятиями, но не обязательно имеют «остенсивные референции», не обязательно отсылают к наглядному, данному чувствам. Как ученые, по возможности, мы предпочитаем язык, в котором метафорическая составляющая редуцирована, но это не препятствует использованию продуктивных возможностей метафоры.

Итак, социальная жизнь в аспекте *временном* предстает для нас (наблюдателей) как множество эпизодов коммуникации, которым в эмпирических исследованиях соответствуют сообщения (отчеты). В отношении *пространственном* она предстает либо как подвижное множество возникающих и вновь исчезающих, пересекающихся и конкурирующих *локалов* непосредственного взаимодействия, либо как смысловые миры, в которые переместились основные характеристики локального. В социально-политическом отношении такому понятию социальности издавна соответствуют базисные идеи 1) *рынка* как свободного от принуждения обмена и заключения контрактов¹⁾, и 2) *демократии* как спонтанности, способной: 1) быть разрушителем всех устойчивых форм и 2) выступить как *учредительная* власть (в терминологии Сийеса), которая лежит в основе новых прочных политических форм.

Однако этой текучей и самоконституирующейся во множестве эпизодов социальности противостоит и ограничивает ее внятный устойчивый *порядок*, структуры которого также могут быть охарактеризованы во временном и пространственном отношениях. В отношении *временном* они обладают значительной длительностью, которой в описаниях соответствуют *нарративы*: образцы повествований о том, что, хотя бы отчасти, может противостоять течению времени. В отношении *пространственном* это большие группы,

¹⁾ Иначе говоря, рынок берется в смысле социологическом, а не экономическом.

совокупности, единства, распределенные на огромных территориях. На этих больших пространствах невозможно столь же непосредственное общение, как в малых локалах, однако и обширные территории обладают более или менее определенными очертаниями, наиболее характерным примером которых являются государственные границы. В политике им соответствуют *государства*, а также конкурирующие с государствами на политическом поле или сообщающие им энергию и поддержку единства, будь то партии, республиканские клубы и другие организации того же рода, имеющие публичный характер. В отношении пространственном и временном господствующие нарративы: идеологические конструкции, преобладающие исторические повествования, основные тенденции и фреймы в новостной среде позволяют сообщить релевантному пространству континуальность. Оно, по смыслу, именно таково, каким его намерены видеть, в обозримом прошлом, настоящем и будущем. Из таких нарративов наиболее внятными являются по-прежнему национальный, но им дело, конечно, не ограничивается. Размывание или переформатирование основных нарративов и, соответственно, их территориальных референций обуславливает в наши дни все столкновения в борьбе за историческую память. У национального существует международный контекст, оно не может быть территориально замкнутым в той степени, в какой замкнута полицейская власть, национальная юрисдикция или валюта государства. Вот почему все глобальные процессы имеют такое большое значение. И вместе с тем, свести все проблемы к отношению глобального и локального и их гибридных форм уже не получится. Ситуация усложнилась, усложнилась и картина социальной жизни, с которой приходится иметь дело науке.

В этой картине появляются: 1) глобальный мир государств и 2) глобальный мир потоков, пересекающих политические границы, т.е. новые непредсказуемые для бюрократического управления и устоявшегося экспертного знания феномены, истоком которых мы можем, наряду с «социальными причинами», считать стремление к свободе. Здесь также появляется 3) сцепляющий между собой затвердевающие, кристаллизующиеся в новых пространствах и на новых условиях социальные формы «социальный клей» межличных связей, сообществ и толп. Фиксируя это хотя бы в самой общей форме, мы существенно меняем нашу понятийную оптику. Это — еще не ответ на тот вызов, с которым мы сталкиваемся. Мы не многого достигаем, если говорим только об отдельных феноменах, внимание к которым позволяет если и не отказаться от привычных способов рассуждений, то, во всяком случае, пересмотреть основной тренд, поставить под вопрос устоявшиеся схемы.

Задача фундаментальной социологии, решению которой посвящен данный проект, в другом. Через ряд исследований мы намерены не столько представить важные категории

в их взаимной связи, сколько радикально историзировать их, то есть выполнить работу, в известной степени, противоположную обычному теоретическому анализу: не от одного понятия к другому и не от «реальности» к теории, но от теории к истории, к исторической относительности более или менее отчетливо сопряженных с понятиями интуиций. Для этого мы сначала остановимся на зыбком, неустойчивом противопоставлении глобального и локального. То возвращение к государству, о котором мы неоднократно будем говорить в данном отчете, не является простой тенденцией, не выглядит как очередное движение маятника. Его необходимо показать в более сложном контексте, в связи с бегством современного человека от государства и в связи с образованием новых жестких политических форм. Это позволит нам ввести в рассмотрение сразу несколько тем, которые по отдельности будут исследоваться ниже: прежде всего, тему «социального клея», сцепляющего прочные формы, и тему толпы как самоорганизующегося множества. Далее — через исследование важного кейса, имеющего архетипическое значение для истории социальной мысли, — мы введем понятие о *спонтанном порядке*. Мы стремимся показать, как, при каких обстоятельствах вообще возникала идея такого порядка, конечно, утопическая (но не забудем, что Макс Вебер в свое время тонко заметил: идеальный тип всегда имеет в себе нечто от утопии). От спонтанного порядка мы перейдем к *порядку навязываемому*. Навязывание порядка происходит через *власть, господство, авторитет*. Это знакомые всем социальным ученым категории, которым были посвящены *предыдущие проекты*. Однако правильно распорядиться ими в части релевантных интуиций можно, повторим, лишь через радикальную историзацию. Следующий теоретический кейс, имеющий более обзорный характер, посвящен вопросам, которые удивительным образом вообще выпадают из поля зрения социологов. Что государство является рамкой разного рода порядков, в том числе и тех, которые прямо к государству не отсылают, мы уже говорили. Но где находится рамка порядка для самого государства? Есть ли вообще порядок за пределами государства? Можно ли считать, что этот порядок, если он есть, появляется только в глобальном мире? Мы исходим как раз из того, что история порядка за пределами государств довольно стара, но теряет значения до сих пор. Государство находится в порядках международного права, и социология должна учитывать этот аспект. Однако если международное право, так сказать, пространственно обрамляет государства, то есть ведь и временной аспект, представляющий для нас особую важность. Модерн появляется благодаря череде революций, причем в этих революциях происходит как раз утверждение государства как пространства суверенной власти, что, между прочим, впоследствии и отзывается социологическим вниманием к внутреннему в противоположность внешнему. Суверенитет — это независимость государства от внешних сил, но суверенитет правителя — это его незави-

симость от констелляций сил внутри государства. Соединением внутреннего и внешнего в понятии суверенитета оказывается суверенная учредительная власть в границах государства, та *pouvoir constituant*, которая в классической социологии предстает как реальность *sui generis*. В темпоральном смысле она основана, так сказать, на ничто. Она творит порядок как полновластное божество — «божественное социальное», которому не предшествует и его не фундирует никакой естественный и никакой международный порядок. Именно это сто лет назад Карл Шмитт назвал суверенной диктатурой. Мы показываем социологический смысл диктатуры, вводя диахронное рассмотрение. Революция вызывает реакцию, а реакция лишь задерживает ход революции — не отменяя его, а только сообщая дополнительную радикальность. Диктатура как учредительная власть, исходящая от «от спонтанного порядка», и диктатура реакционная, идущая сверху от существующей «суверенной власти», вступают в перекличку, и мы соединяем исследование об общих характеристиках революции и реакции с исследованием о диктатуре в сочинениях Ленина и Шмитта. По существу, сочинения обоих авторов столетней давности могут быть прочитаны как единый текст²⁾. Отдельным экскурсом далее представлено исследование взаимосвязи между политической теорией и общей социологией Макса Вебера. Мы показываем, что социология Вебера именно на уровне своих основных понятий, так сказать, спроектирована под политическую социологию, а значит, те историко-политические пространственно временные интуиции, которые в ней содержатся, также должны быть переосмыслены в связи с переменами всего социального мира. Другой экскурс посвящен темпоральному аспекту понятия чужака. Социальное качество чужака определяется, как известно, тем, что *внутри* социально-политической общности он оказывается, *придя извне и задержавшись*, то есть *уходя не сразу*. Таким образом, пространственность заложена в самой возможности быть *где-то* чужим. Но у этой пространственности есть временной аспект. Таким образом, историзируя основные категории социологии для фокусировки их в современном мире, мы, сосредоточившись на чужаке, получаем не просто еще одно понятие, но важнейший инструмент анализа. При перемещениях, которые затрагивают всех,

²⁾ За пределы этого текста пока что попадает концепция революции Ханны Арендт. Важной отличительной особенностью теории Арендт является ее стремление понять конкретные социальные и политические тенденции настоящего в свете важных изменений прошлого. В концепции Арендт происходит очень важное разделение политического и социального, понимаемого как по сути экономическое. Этот аналитический словарь нам еще понадобится. Существенным недостатком арендтовской теории революции является недооценка социальных мотивов революционных протестов. Экономические требования, связанные исключительно с благополучием частного лица, не следует путать с проблемами общественного устройства. Тем не менее, эти требования могут при определенных обстоятельствах превращаться в политические. Таким образом, социальный вопрос, как вопрос частного благополучия, может быть превращен в более общий вопрос о благосостоянии отдельной социальной группы, всего общества в целом или даже самого государства. В рамках настоящего исследования концепция Арендт выступала скорее в роли «невидимой пружины», чем специального объекта изучения, но именно она позволила сосредоточить внимание на первостепенных авторах, существенно на нее повлиявших.

теряет смысл понятие чуждости, инаковости. Но при перемещениях, которые совершаются в мире, вновь постигающем значение государств и национальных общностей, чужаки становятся центральной фигурой. На них обращено внимание, подозрение, негодование. И только в этой перспективе они становятся постоянной внутренней проблемой, которая до недавнего времени была слепым пятном всех теоретических исследований глобализирующегося мира. Завершается наш отчет возвращением к категории толпы. Некогда С. Московичи говорил о «веке толп». Пожалуй, наступивший век может быть назван так с еще большим правом. Толпы лежат в подоснове спонтанности *до* институтов, не схватываются категориями регуляции, безразличны к устойчивым характеристикам пространства и времени в социальной жизни, хотя располагаются «где-то» и собираются «когда-то». Это позволяет относить их к одному из первосустратов социальности, правда, характерному не для всех времен. Однако, в нашу эпоху мы можем фиксировать нарастание их значения в социальной жизни. Таким образом, начиная с самых общих понятий, мы завершаем той элементарной составляющей социальной жизни, которая интуитивно ближе всего и человеку в мире повседневности, и социологу.

1 Глобальность, государство и «социальный клей»

Мы живем в эпоху поразительных противоречий, которые редко артикулируются, а если и проговариваются, то фрагментарно или клишировано, например, как известное и много раз обсуждавшееся противопоставление глобализации и глокализации³⁾. Можно привести и другой пример: известную концепцию Дж. Скотта часто критикуют за идеализацию образа простого сельского жителя, якобы способного посредством бегства или «орудия слабых» противостоять бездушной бюрократической машине любых форм административного контроля. Однако редко подвергается сомнению его утверждение, будто в XX веке наступила эпоха тотального огосударствления⁴⁾. Согласно предложенной Дж. Скоттом версии исторического процесса, примерно с середины XX столетия можно уверенно говорить об окончательном поглощении всех без исключения народов и территорий национальными государствами, т.е. сегодня невозможны «сообщества беглецов и бродяг, сознательно выбравших для жизни необитаемые территории... Практически все в жизни... таких народов, включая социальную организацию, идеологию и в основном устную культуру, следует воспринимать как стратегические решения, принятые чтобы удержать государство на расстоянии. Территориальное рассеяние на пересеченной местности, мобильность, земледельческие практики, структуры родственных связей, подвижные этнические идентичности, приверженность харизматичным лидерам-пророкам были эффективными средствами избегания инкорпорирования в окружающие государственные образования и предотвращения появления аналогичных им институциональных структур» [5, С. 10]. Но что отсюда следует?

Мы читаем, что «современное государство в своих колониальных и суверенных воплощениях обрело ресурсы для реализации того проекта управления, который прежде лишь в мечтах являлся его доколониальным предшественникам, — подчинения безгосударственных территорий и народов... Все правительства — колониальные и независимые, коммунистические и неолиберальные, популистские и авторитарные — стремились к его завершению» [5, С. 26]. Скотт убежден, что с середины XX века говорить об автономном существовании людей без государственности невозможно (вернее можно, но в духе ностальгических воспоминаний о том, что в течение столетий они жили то в государствах, то без них, а «государственность» была цикличной и обратимой⁵⁾). Все версии неуправляемой периферии были полностью огосударствлены по самым разным причинам, но, преж-

³⁾ Глокализация также склонна жестко структурировать повседневные практики собственной «оппозиционности». См., напр.: [1], [2], [3], [4] и др.

⁴⁾ См., напр.: [5].

⁵⁾ См., напр.: [6, Р. 63–70].

де всего, в результате научно-технического прогресса и развития коммуникативных средств — человек просто физически не может спрятаться от всевидящего государственного ока. Спорить с этим сложно.

Однако Дж. Скотт оказался не совсем прав в том, что противостоящие современному государству формы социальности исчезли окончательно и бесповоротно. Яркое свидетельство этому — так называемое «Исламское государство»⁶⁾, многочисленных жителей которого вряд ли можно квалифицировать скоттовским термином «политические беженцы от государства». Не вдаваясь в дискуссии о названии данного квази-государственного образования (самономинациях)⁷⁾, нужно отметить, что фактически это результат феноменального сочетания научно-технических достижений позднего модерна (прежде всего, электронно-коммуникативных технологий) с самыми архаическими формами гендерного, межгруппового, социально-экономического и политического взаимодействия⁸⁾. Оформилось огромное текучее и самоконституирующееся во бесчисленных эпизодах коммуникации пространство, состоящее из подвижного множества возникающих и вновь исчезающих, пересекающихся и конкурирующих форм непосредственного взаимодействия, внятный и устойчивый порядок которому гарантируют дискурсивно конструируемые квазигосударственные границы. Речь идет не просто о новом непризнанном очаге спонтанного порядка, претендующем на статус государственного образования и распространяющего свое влияние на множество куда более институционально устойчивых и легитимных государств, но и об очаге крайне привлекательном для жителей этих государств⁹⁾, невзирая на всю их «цивилизованность» в сопоставлении с реальными ужасами повседневной жизни нового «варварского» оплота международного терроризма. Вопрос, однако, и теоретически, и методически состоит в следующем. Как оценивать эту форму порядка? Это не старое государство, это феномен, ставший возможным только в глобальном мире, но это нечто похожее на государство, хотя и не признанное. Можем ли мы рассматривать появление таких форм (а ведь нам рано или поздно, невзирая на любые политические пристрастия предстоит назвать на языке теории и такие образования, которые появились в далекой Эритрее, и такие близкие, но совершенно не понятные вещи, как ДНР/ЛНР, самопровозглашенные республики на территории Украины) как продолжение глобализации или как возвращение к новой форме государства? Достаточно ли нам сказать, что все разговоры о исчезновении альтернатив государству столь же беспочвенны, как и разговоры о деградации и размывании государства? Здесь термины и мыслительные ходы, заимство-

⁶⁾ Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

⁷⁾ См., напр.: [7], [8], [9] и др.

⁸⁾ См., напр.: [10].

⁹⁾ См., напр.: [11], [12] и др.

ванные из прошлого, могут сыграть с нами дурную шутку, навязывая слишком поспешные суждения, но полностью пренебрегать ими тоже нельзя.

Новое звучание обретает идея Э. Фромма о «бегстве от свободы», под которым он понимал «феномен человеческого беспокойства, вызванного распадом средневекового мира, в котором человек, вопреки всем угрозам, чувствовал себя уверенно и безопасно... Современный человек все еще охвачен беспокойством и подвержен соблазну отдать свою свободу всевозможным диктаторам или потерять ее, превратившись в маленький винтик машины: не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат... Несомненно, причины, вызывающие у человека страх перед свободой, беспокойство и готовность превратиться в автомат... не только не исчезли, но и значительно возросли» [13, С. 8]. Многие люди добровольно покинули свои сообщества и страны, чтобы жить на территории ИГИЛ (в буквальном, а не метафорическом «средневековье»), объясняя свое решение желанием освободиться от невыносимого диктата современного капиталистического общества потребления, однако в итоге регламентация жизни человека в архаичном религиозном квазигосударстве оказывается еще более тотальной. Не является ли эта тенденция также глобальной и универсальной?

В этой связи неожиданно продуктивными оказываются некоторые старые идеи Г. Зиммеля. *Во-первых*, по Зиммелю, кроме крупных устойчивых социальных форм, существуют более подвижные формы, которые как бы склеивают крупные между собой. Изучение повседневных, постоянно возникающих и распадающихся форм общения представляет собой не меньший интерес и не меньшую важность. Возможно, эта схема применима не только для общества модерна, заключенного в границы государства с прочными крупными формами того, что современный социолог назвал бы институтами внутри них (будь то армия или церковь, университет или промышленное производство), но для совершенно новых феноменов. Все, что мы знаем о логике формирования Исламского государства — как крайне дифференцированного территориального образования, в котором разные территориальные общности «склеены» в схожие по характеристикам образа жизни крупные образования, позволяет, по крайней мере, примерить к ней эту концепцию Зиммеля. *Во-вторых*, в этой же связи очень современно звучит и его утверждение, что «глубочайшие проблемы современной жизни вытекают из стремлений индивидуума охранить свою самостоятельность и самобытность от насилия со стороны общества, исторической традиции, внешней культуры и техники жизни» [14, С. 1]. Только сегодня речь идет об избегании не больших городов, о которых писал Г. Зиммель, но о «стандартных» структурообразующих характеристиках современного общества в принципе, а также о стремлении индивида не сохранить свою самостоятельность и самобытность, а выбрать иные формы их

«закрепощения», чем предлагают распространенные сегодня форматы государственности. Это — лишь пример, подтверждающий социальный заказ на сложную теоретическую работу в рамках социологического осмысления новых форм стихийного порядка и крайне противоречивых идентификационных и мировоззренческих моделей современных социальных акторов, которые часто демонстрируют отказ делать выбор и принимать самостоятельные решения в обществе, которое в принципе предлагает для этого куда больше возможностей, чем прежде (несомненно, при неискоренимых объективных и дискурсивных ограничениях набора и контекстов осуществления экзистенциальных и простых выборов). Теории здесь предстоит еще сделать очень много, однако запаздывает и *методическая инвентаризация эмпирической социологии*, которая закрывает глаза на то, что традиционно используемые ею инструменты (особенно для сопоставительного анализа разных параметров во временном перспективе, как правило, в формате мониторингов) все хуже улавливают важнейшие грани прежде хорошо знакомого предмета рассмотрения.

Пока что мы зафиксировали противоречие: глобализация как объективный процесс наращивания международных связей и переноса техники, технологии и даже образцов культуры продолжается, тогда как глобализация в смысле размывания политических границ государства и уменьшения значения локусов социального взаимодействия в старом смысле слова (предполагающих внятно очерченные территории), явно приостановилась или даже приняла обратное направление. Государства вновь оказываются главным социальными и политическими единствами, которые, однако, так сказать, источены, прорывлены глобальными потоками, причем к этим глобальным потокам принадлежат и движения, перемещения акторов, переставших рассматривать государства как единственные естественные ландшафты политического пространства и вновь прорывающих ограничения свободы. Мы вновь включаем свободу действующего¹⁰⁾ в рассмотрение как важнейших фактор, дополняющий и корректирующий тенденцию к укреплению политических институтов модерна.

Это положение дел требует не просто осмысления как таковое, оно нуждается в пересмотре стратегии работы с понятиями. Вопрос о *пространственной и временной* интуициях, заложенных в базовых понятиях социологии, ставится не впервые. Каждое понятие нуждается в такой изначальной интерпретации. Они с возникновения социальной мысли и до наших дней привязаны к пространственно-временным интуициям *акторов* и основополагающим характеристикам социального мира. Ново здесь не то, что мы снова открываем этот контекст. Нов сам этот мир, на который направлен наш познавательный интерес. Иначе говоря, мы видим необходимость вернуться к тем очевидностям, которые были от-

¹⁰⁾ И в смысле непредсказуемости, и в смысле потребности освободиться от давления институтов.

крыты в основных понятиях социологии предшествующей эпохи, но только для того, чтобы решить: сохраняют ли они прежнюю релевантность. Здесь же кроется и вызов. Социология в наши дни больше не воспринимается как источник экспертного знания для определения основного характера современной эпохи и самого понятия современности, а также глобальности или локальности изучаемых ею феноменов. Сосредоточившись на методических или абстрактных теоретических вопросах, она рискует быть обвиненной в том, что закрывается от общества в «башне из слоновой кости». Речь идет, с одной стороны, о статусе социологического знания, а с другой — о той системе координат, точнее, системе референций, в которые это знание помещается. Если для социологов глобализации и мирового общества речь шла о высокой теории применительно к захватывающему все мировое общество модерну, то мы должны заново переосмыслить все эти понятия, то есть решить вопрос о том, что означает сейчас теория, равна ли она абстрактной работе понятий; далее, решить вопрос о том, действительно ли в основных своих характерных чертах продолжается именно модерн, о котором писали классики социологии, и если да, то в чем специфика модерна на современном этапе (когда, заметим попутно, уже никто не рискнет говорить о постмодерне); наконец, является ли для нас главным, интуитивно созерцаемым «общество без границ» или речь может и должна идти сейчас о, возможно, временном отступлении такого *общества* и возрождении политических, ограниченных в пространстве *сообществ*. Но даже понятие сообщества, как мы еще увидим, может иметь лишь ограниченное значение и предполагает слишком большую степень организованности.

Было бы неверно, заговорив о «социальном клее», упустить из виду то, что находится, так сказать, на противоположном полюсе, а именно, толпу. Здесь мы снова должны обратиться сначала к классической социологии. Сделав предметом своего внимания социальные факты, которые не сводимы к индивидуальным особенностям участников социальной жизни, социология неизбежно включила в круг своего внимания все групповые феномены, прежде всего — те, которые можно наблюдать в повседневной жизни без особой социологической методологии. Для первых социологов ценность таких наблюдений, безусловно, была меньшей, чем ценность социологических феноменов, «увиденных» посредством специальных техник сбора и анализа данных, свидетельством чему служат принципиальные разногласия между Э. Дюркгеймом и Г. Тардом. Для Тарда толпа была легко наблюдаемым феноменом, который объясняется заражением индивидами друг друга, т.е. по сути феноменом психологическим, что было неприемлемо для Дюркгейма, пытавшегося обосновать социологию как науку тем, что она изучает надиндивидуальные, собственно социологические явления. Тем не менее, социологи не отказались от изучения толп. Скорее, они перехватили обсуждения у более психологически ориентированных ис-

следователей (Г. Тарда [15], Г. Лебона [16], С. Сигеле [17]) и начали рассматривать толпы не столько с точки зрения механизмов воздействия индивидов друг на друга, сколько с точки зрения социальных эффектов, производимых толпой. В этом отношении показательно различие в подходе к толпе между Г. Лебоном и Г. Зиммелем. Для Лебона толпа — некоторое единство, обладающее особой «душой», самостоятельное социальное явление, но лишь в том смысле, в каком в ее основе лежит психологический механизм обезличивания. Однако с социологической точки зрения (представленной, в частности, Георгом Зиммелем) такой подход страдает двумя недостатками. Во-первых, он не показывает реальное значение толпы для общества. Как принципиально городской феномен, которому благоприятствует сама организация мегаполисов, толпа для Зиммеля представляет собой особую общность. Во-вторых, психологический подход Лебона неудовлетворителен для социологии потому, что он на самом деле не раскрывает механизм формирования толп, точнее, рассматривает этот механизм в качестве закона функционирования толпы. В наши дни мы можем лишь констатировать, что толпы никуда не делись, и социология вносит свой вклад в их постижение как феномена повседневности. В том числе и повседневности мира глобальных коммуникаций. В общей социологической перспективе самоорганизующейся толпе противостоит власть, и как раз сталкивая категории порядка, возникающие благодаря, так сказать, агонизму того и другого, толпы и власти, мы получаем очень интересные результаты.

2 К истории понятия власти

Сделаем здесь историко-теоретическое отступление, поскольку исследования в рамках предшествующих проектов дали нам материал для нового понимания исторической относительности центрального понятия власти.

В русском языке понятие власти обладает весьма широким спектром значений, что делает разговор о нем более сложным. Единое конвенциональное определение власти, к которому обращались бы исследователи, желающие работать с ним, отсутствует, представители разных областей гуманитарного знания трактуют власть по-разному, зачастую *ad hoc*. Философы видят в нем одно, политологи и антропологи — другое, историки, как правило, третье, что, в принципе, заставляет задаваться вопросом о том, можно ли пользоваться понятием «власть» как техническим термином при исследовании, или следует предпочитать ему различные синонимы, определяемые каждый раз ситуативно. Спасением могло бы стать обращение к переводной традиции, но и здесь, в силу отсутствия единого понятийного поля, дела обстоят совсем не так хорошо, как хотелось бы.

Для учебных пособий и энциклопедических словарей по политологии, антропологии и философии (то есть, для того рода изданий, где, по идее, должно содержаться некое принимаемое всеми по умолчанию знание) характерны определения двух видов. Либо это попытки описать власть через ее волевою составляющую¹¹⁾, либо фактический отказ от собственного определения власти в пользу более или менее представительной подборки переводных определений, принадлежащих, как правило, представителям англосаксонской и, изредка, французской политологических школ [23, С. 35–38], [24, С. 87–90], [25, С. 59–64, 559]. В обоих случаях, впрочем, акцент обычно ставится на сути власти как возможности заставить одного человека поступать согласно воле другого. Для политических антропологов (Л. Е. Куббель, Н. Н. Крадин) более характерна приверженность классической формуле власти, предложенной Максом Вебером [26], для политологов (А. Ю. Мельвиль, Г. В. Голосов и др.) — определению Роберта Даля [27].

В отечественной политической философии и в политической теории попытки представить целостную концепцию власти предпринимались периодически. Во второй половине XX века наиболее влиятельной оказалась позиция, высказанная Н. М. Кейзеровым, согласно которому власть с марксистско-ленинских позиций представлялась как «волевое

¹¹⁾ В. Г. Ледяев в своей книге [18] обобщает эти попытки под именем «волевой концепции власти» и отмечает, что она преобладает в отечественной традиции. Ссылается он при этом на исследование Н. М. Кейзерова [19], о котором будет сказано дальше, и на ряд диссертаций, защищенных во второй половине 80-х — начале 90-х годов прошлого века. См.: [18, С. 73]; см. также: [20], [21], [22]. Аналогично власть определяется и в «Толковом словаре Ушакова», как «право и возможность подчинять кого-что-нибудь своей воле, распоряжаться действиями кого-нибудь».

отношение», в рамках которого ее носитель обеспечивает «выявление и доминирование властной воли» [19, С. 16]. Примерно в этих же терминах позднее трактовал власть и Ф. М. Бурлацкий в своей одноименной статье, включенной в «Философскую энциклопедию» 1983 года [20]¹²⁾. Перестройка, падение СССР и последовавшие за этим политические бури 90-х годов ожидаемо спровоцировали резкое повышение интереса к проблемам власти вообще и политической власти, в частности, что отразилось в целом ряде работ, вышедших в период с конца 80-х до конца 90-х годов [29], [30], [31], [32]. Однако практически все они отличались поверхностностью терминологического анализа и, в целом, некритическим отношением к языку и, определяя власть как волевой феномен, ограничивались этим, отказываясь от дальнейшего ее анализа [18, С. 73]. Тогда же, в 1997 году, вышел и «кратологический» словарь В. Ф. Халипова, который можно охарактеризовать предельно коротко как неудачный проект [33]. Недостаток аналитического мышления автор решил компенсировать избыточной эмоциональностью, что, ожидаемо, положительного результата не имело и иметь не могло.

Качественно иным предстает вышедшее в 2001 году исследование Валерия Ледяева «Власть: концептуальный анализ». Эта монография представляла собой публикацию одноименной докторской диссертации В. Г. Ледяева, защищенной в 1999 году. В свою очередь, докторская была, во-многом, построена по материалам PhD-диссертации, защищенной В. Г. Ледяевым в Манчестере еще за два года до того. Анализируя власть, Ледяев формулирует ее определение как «способность субъекта обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями» [18, С. 268]. При этом, различая власть и господство, и даже настаивая на автономии понятия «власти», он сближает власть и авторитет, определяя последний как одну из форм власти [18, С. 273], что, по моему мнению, глубоко ошибочно. Стоит отметить и еще одну отличительную черту концепции В. Г. Ледяева, сближающую его с целым рядом других, упомянутых выше, исследователей, от Н. М. Кейзерова до Н. Н. Крадина и Г. В. Голосова: она, как и перечисленные ранее теории, основывается на знании о власти, созданном англо-саксонской и, отчасти, французской традициями конца XIX — начала XXI вв. и игнорирует, при этом, более раннюю традицию мысли о власти.

Подводя промежуточные итоги, можно выделить несколько общих точек, позволяющих говорить о рефлексии власти на постсоветском пространстве как о едином культурном феномене. Власть в этом дискурсе трактуется неизменно как интерсубъектное отношение, обладающее теми или иными характеристиками. Незыблемым остается и тезис о

¹²⁾ См. также вышедшую в том же году диссертацию Н. И. Осадчего, трактующего власть сопоставимым образом [28].

ее субъективной природе и принадлежности сугубо человеческому сообществу. Подобное ограничение может быть объяснено тем, что в основу современного знания о власти кладется система знания модерной эпохи. Самым ранним автором, привлекаемым исследователями, становится Томас Гоббс, творивший, как известно, в середине XVII столетия. Некоторые авторы, при этом, апеллируют еще и к классическому греческому знанию, от Гесиода до Аристотеля¹³⁾, но эти отсылки выглядят вторичными и не несут в себе принципиального значения для авторских концепций. Объяснить это можно двумя основными моментами.

Во-первых, вся система современного гуманитарного знания, выстроенная на идеалах эпохи Просвещения, подразумевает, что то знание, о котором стоит говорить, создавалось либо в Античности, либо уже в Новое время, тогда как в Средние века наблюдался глубокий провал в гуманитарном и, тем более, естественном знании. Данная презумпция начала пересматриваться и подвергаться критике как в России, так и за рубежом лишь в последние два-три десятилетия. Однако подобные процессы всегда долговременны и ждать быстрого изменения парадигмы гуманитарного знания, разумеется, не приходится.

Во-вторых, — и эта причина имеет более приземленный характер, — отечественный дискурс о власти, во-многом, строится на основе доступной иностранной литературы, как переводной, так и оригинальной. Если проанализировать массив переводов политической и политико-философской литературы за последние 30 лет, легко можно увидеть, что среди нее категорически преобладают труды если не наших современников, то классиков политической и философской мысли XX века. Макс Вебер, Карл Шмитт, Ханна Арендт, Бертран де Жувенель, Александр Кожев, Никлас Луман, Толкотт Парсонс, Поль Бурдьё, Мишель Фуко, Роберт Даль и многие другие, — все они жили и творили в прошлом столетии. Качественных же переводов источников более раннего времени, в особенности, средневековых, на русском языке практически нет. Следствием этого становится резкое ограничение потенциального круга исследователей средневековых представлений о власти теми, кто способен читать оригинальные латинские тексты, а иногда и переводить их.

Таким образом, в пределы этого круга попадают, в основном, историки, принадлежащие к цеху медиевистов, то есть, специалистов по изучению истории средневековой Европы. В их среде, как и среди философов, мода на изучение политической власти появилась в первой половине 90-х годов прошлого столетия и в должной мере гармонично развивается вплоть до сегодняшнего дня (в конце концов, ведь эти строки пишет тоже представитель историков). Однако практически все авторы, обращавшиеся к проблематике власти в средневековом мире, ограничивали свое исследование конкретным регионом и

¹³⁾ См., например: [25, С. 59–60].

временным периодом, а также, как правило, изучением какой-то отдельной грани властных отношений — чаще всего, той, что принято называть «репрезентацией власти» или, более точно, «политическим символизмом»¹⁴⁾. В отдельных, наиболее ярких случаях само понятие власти напрямую отождествляется с ее репрезентацией. Так, например, О. В. Ауоров в недавно опубликованном исследовании, посвященном анализу королевской власти у вестготов, заявляет, что «ныне, в эпоху всеобщего господства PR-технологий, кажется, уже нет смысла доказывать очевидную истину: власть — это в первую очередь образ, утвержденный и поддерживаемый в общественном сознании. Именно поэтому репрезентация власти — ключевое условие ее бытия: там, где власть не обозначена символически, она как бы и не существует и, наоборот, там, где присутствует символ, власть проявляется как бы сама собой» [35, С. 40]¹⁵⁾.

Ограничение объекта изучения по времени и пространству типично для любого квалифицированного исторического исследования. Историк, что очевидно, работает с определенными источниками, происходящими из того или иного региона, укорененными в конкретном историческом периоде. Это, в свою очередь, приводит к четкой локализации выводов, получаемых исследователем и создает иллюзию их «замкнутости», а, точнее, «разомкнутости» относительно один другого. Попытки преодоления подобной «разомкнутости», выстраивания рядов сопоставлений, с одной стороны, признаются необходимыми для историков, занимающихся проблемами политического символизма (и, шире, политической истории и истории власти как таковой), с другой же, подчеркивается риск утратить видение индивидуального, увлекшись поиском общего (в чем, иногда, историки упрекают своих соседей по цеху, т.е., антропологов)¹⁶⁾. У социологов — другие задачи, поскольку с материалами историков они имеют дело как с уже готовыми, препарированными, не замечая при этом, что современная оптика опрокидывается в историческое исследование, результаты которого потом привлекаются для подкрепления абстрактных схем. Это практически неизбежно при нормальном состоянии науки, но очень мешает при решительной смене парадигм. Именно поэтому мы столь осторожны в своих притязаниях, хотя и не намерены просто продолжать традиционные подходы.

Мы не столько хотим описать современное состояние как итоговое для длительного развития и/или впервые открывающее истину феномена, достигшего к нашему време-

¹⁴⁾ О понятии «политический символизм», его отличии от «репрезентации власти», «политической символики» и т.д. см. ставший уже классическим анализ М. А. Бойцова во введении к его «Величию и смиренню» [34, С. 13–21].

¹⁵⁾ Ср. сходное по смыслу заявление М. А. Бойцова в его программной статье «Скромное обаяние власти» о том, что «власть без «облика» не функционирует и даже попросту не существует» [36, С. 37]. Характерно, впрочем, что в более поздней, по времени выхода, монографии Бойцова уже не делает столь обзывающих высказываний [34].

¹⁶⁾ Об этом см. прежде всего [37], в особенности, тезисы на с. 8–10. См. также: [36, С. 38], [34, С. 18].

ни — предположительно — наивысшей зрелости, сколько показать его историческую относительность, контингентность. Для этого нам приходится, с одной стороны, отступить в далекое прошлое, потому что наши ключевые категории имеют происхождение куда более отдаленное, чем об этом принято обычно говорить в связи с историей социологии, а с другой стороны, мы намерены затронуть области знания, которые сравнительно редко попадают в поле зрения социологов, хотя необходимость их изучения, что называется, лежит на поверхности.

3 Утопия спонтанного порядка в ранней теории институтов (на примере британской моральной философии и политэкономии XVIII в.¹⁷⁾)

Представление о спонтанном характере институтов, не являющихся непосредственным результатом интенционального (стратегического или инструментального) социального действия, относится к конститутивным эвристическим элементам современной социальной теории. В истории идей оно имеет свою собственную длительную традицию, поскольку схожие интуиции высказывались многими мыслителями разных школ и направлений задолго до того, как социология и социальная философия институционализировались в качестве отдельных дисциплин научного знания обществ модерна о себе. Надо лишь постоянно удерживать мысль о том, что спонтанное образование прочных форм должно быть, так сказать, дано интуиции прежде, чем оно будет схвачено в понятиях. Для этого старые формы регуляции должны быть разрушены или постепенно отходить на задний план, а новые формы — буквально «появляться на глазах», часто совершенно неожиданно. Сквозным для историко-теоретического развития данного тематического комплекса является тезис о том, что генетически и структурно социальный порядок прямо не корреспондирует с интенциями индивидуальных акторов, из действий которых он конституируется путем агрегации на макроуровне. Но *до* этого должна быть также идея такого соответствия, что мы и находим, уходя вглубь веков, в средневековом понятии порядка (*ordo*), без которого невозможно понять концепции естественного права, господствовавшие на протяжении веков. С появлением идей *ratio status*, то есть отделения целей государства от возможностей планирования и познания обычного человека, то, что делается индивидом, перестало пониматься как разумный посильный вклад в неотменимый общий порядок. Но порядок не исчез, он только распался на порядок политический и порядок иных институтов, точного названия которым долго не могли найти. Только с этого времени, если перевести традиционную топику спонтанности социального на упрощенный язык аналитической модели «структура—агент», первая предстает одновременно и как трансцендентная, и как имманентная по отношению к намерениям и последствий действий второго, неизбежно выходя за пределы индивидуальных интенций, из результатов которых она собственно и возникает. Другими словами, социальный порядок и стабилизирующие его правила социального действия (институты) не являются чьим-то гениальным изобретением, а представляют собой спонтанно сложившийся результат длительного процесса

¹⁷⁾ Данная интеллектуальная традиция уже исследовалась нами ранее, но под несколько иным углом зрения — прежде мы анализировали ее основные постулаты и интуиции в перспективе теории действия (парадокс побочных результатов) [38]. Здесь фокус исследовательского интереса смещен в сторону теории социального порядка.

общественной эволюции, включающего в себя перманентную борьбу за определение самих норм общественной жизни¹⁸⁾.

В XVIII в. проблема спонтанности социальных институтов даже становится центральной для некоторых направлений моральной и политической философии и ранней политэкономии. Одним словом, эта тема играет значительную роль уже у социально-философских предшественников социологии и изначально является устойчивым топосом (инвариантом) в дискурсе модерна. Несмотря на столь солидный возраст, теоретическая перспектива, позволяющая рассматривать социальный порядок как принципиально спонтанный, по-прежнему является проблематичной для значительной части экономистов, социологов, философов и политических ученых. Видимо, дело в том, что лежащий в ее основе методологический индивидуализм делает бессмысленными любые сциентистские модели социального, основанные на, по сути, физикалистских представлениях о мире культуры как точно калькулируемом объекте: в данной аналитической оптике место понятия *баланса* сил, статически понимаемого в духе классической механики Нового времени, занимают понятия, связанные с трудно уловимой *динамикой* социальных процессов, подверженных влиянию случайных и непредсказуемых (ф)акторов. Поскольку последние не поддаются точному предсказанию и расчету, становится невозможным говорить об общественно-политическом и социально-экономическом порядке как некоей «системе», функционально организованной в соответствии с божественным по масштабу и гениальности планом неизвестного социального инженера — несмотря на временные сбои, в целом четко работающей, хотя и нуждающейся время от времени в ремонте [40, S. 2].

При этом основные идеи спонтанного социального порядка были разработаны задолго до появления трудов лидеров Австрийской школы политэкономии или представителей традиции *rational choice*-анализа, традиционно причисляемых к ее протагонистам. Обычно среди ее творцов называют знаменитых классиков шотландского Просвещения — Дэвида Юма, Джозайи Такера, Адама Смита, Адама Фергюсона и др., подлинных создателей концепта «гражданское общество» в эпоху раннего модерна. Но и в других культурных регионах Европы в ту эпоху можно встретить сторонников схожих теорий, иногда довольно неожиданных с точки зрения их социально-профессионального профиля. В качестве экзотического примера такого рода можно назвать неаполитанского аббата Фердинандо Галиани — автора остроумных политэкономических трактатов, которому Фридрих

¹⁸⁾ Из крупных социальных теоретиков XX века, эксплицитно рассуждавших о спонтанности социальных норм, следует назвать Норберта Элиаса, утверждавшего, что нормативные изменения происходят не путем рационального решения, а скорее неосознанно. Ср.: «Очевидно, что отдельные люди не планировали когда-то в прошлом изменения, „цивилизацию“, и не намеревались постепенно осуществлять ее сознательными, „рациональными“, целенаправленными методами» [39].

Ницше дал довольно амбивалентную характеристику¹⁹⁾. В своем главном труде, экономическом трактате «О деньгах» (1751), формально оставаясь в рамках религиозной картины мира, он описывает образование культурных привычек и правил (институтов) как сознательно никем незапланированный и не имеющий цели процесс с заранее непредсказуемыми последствиями — в силу гораздо большей комплексности, чем у результатов стратегического конструирования социального: «Я абсолютно убежден в том, что из всех чрезвычайно полезных и чудесных установлений нашей гражданской жизни ни одна не является результатом мудрости нашего духа, но все они без исключения суть дары благого провидения в самом буквальном смысле. И поскольку все великие вещи начинались с малого и незаметно, а затем развивались с непреодолимой силой... человек не в состоянии ни понять их источник, ни остановить их рост, ни изменить их по собственному усмотрению». Эту концептуальную рамку он конкретизирует на материале непосредственного предмета исследования своего трактата: «Применительно к деньгам также ошибочно считать, что их использование было действительно «изобретено» людьми. Скорее их начали применять, вообще не осознавая их великую пользу» [42; Цит по: 43, S. 140ff.]. Здесь и в других местах у Галиани уже звучат мотивы, легшие впоследствии в основание аргументов эксплицитных теорий спонтанного эволюции культурных институтов²⁰⁾.

Не должно особенно удивлять, что подобные голоса громко зазвучали в век Просвещения, т.е. в эпоху рационализма, с характерными для него представлениями о возможности волюнтаристского (договорного) выхода из Гоббсова «естественного состояния». Сам просвещенский мейнстрим в виде различных версий контрактualизма вызвал к жизни не менее разнообразные критические аргументы против идеи сознательного установления устойчивого социального порядка («гражданского состояния») как дискурсивной фикции, далекой от политической практики Нового времени и реалий раннеמודерного капитализма. В качестве еще более ранней реакции на волюнтаристки-утопический социальный конструктивизм договорных теорий можно назвать теорию общества Джамбаттисты Вико, часто называемой а-рационалистской из его убежденности в том, что люди «не ведают, что творят». Так, в своем *opus magnum* «Основания новой науки об общей природе наций» (1725) он ни много ни мало утверждал: «Как рациональная метафизика

¹⁹⁾ Ср.: «...аббата Галиани, самого глубокого, самого пронизательного и, может быть, самого грязного из людей своего века» [41, С. 262–263].

²⁰⁾ Уже упоминавшийся Н. Элиас подтверждает тезис Галиани о нерациональной природе институтов разнообразным историческим материалом из сферы поведенческих установок: «Ни ложка, ни вилка, ни салфетка не были изобретены в один прекрасный день каким-то пытливым индивидом, и их появление не похоже на создание технических приспособлений с четко установленной целью и способом применения. Их функция устанавливалась постепенно, их формы совершенствовались и закреплялись на протяжении столетий в процессе социального обращения. Любая, даже самая незначительная, привычка, любой ритуал формировались бесконечно медленно, даже те поведенческие формы, которые кажутся нам совершенно элементарными или «разумными» [39, С. 176].

учит, что *homo intelligendo fit omnia*, так и наша фантастическая метафизика показывает, что *homo non intelligendo fit omnia*; и второе может быть даже правильнее первого, так как человека посредством понимания проясняет свой ум и постигает вещи, а посредством непонимания он делает эти вещи из самого себя и, превращаясь в них, становится ими самими» [44, С. 147]. В рамках своей «имманентной» философии истории Вико довольно скептически относится к «тайной мудрости» философов, исходя из того, что история осуществляется на уровне «простонародной мудрости» массы людей, которая творит ее бесознательно, посредством множества предрассудков, пребывая в постоянной борьбе материальных и властных интересов. Он стремится обнаружить в противоречивом ходе «всех человеческих и гражданских вещей» некую имманентную закономерность, независимую от желаний отдельных людей [45, С. XI] и в этом смысле также может считаться предшественником Гегеля, разработавшего оригинальную теорию не-интенциональности культурного развития («хитрость разума»²¹).

Систематическая критика договорных теорий и разработка альтернативных им концептов, исходящих из принципиально спонтанного характера культурной эволюции, стали предметом интеллектуальных усилий упоминавшихся шотландских просветителей. Среди них особо выделяется Адам Фергюсон, попытавшийся в труде «Опыт истории гражданского общества» (1767) сформулировать более или менее целостную теорию спонтанного социального порядка. В ее основу было положено понятие естественного состояния, радикально отличное от Гоббсова: «правильным состоянием», соответствующим природе человека, «является не то, от которого навсегда ушло человечество, а то, к которому оно в настоящий момент может прийти — не до того, как применить собственные способности, а благодаря их надлежащему применению» [47, С. 42]. Призывая отказаться всякого рода «эпистемологических робинзонад» при анализе проблемы порядка, Фергюсон социологизирует исследовательскую оптику: «Людей надо рассматривать в обществах — так, как они всегда и жили» [47, С. 34]. При этом указывает на неисторичность философских фикций, конструирующих «то естественное состояние, которое в равной степени оберегало нас как от нынешних бед, так и от наших нынешних благ» [47, С. 32].

Несмотря на очевидную простоту, некоторые формулировки А. Фергюсона оказали серьезное влияние на дальнейшее развитие определенных направлений политэкономии и теории институтов. В качестве программных для всей последующей традиции понимания

²¹ Ср.: «Хитрость разума» заключается в том, что «не всеобщая идея противопоставляется чему-либо», но «частные интересы вступают между собой в борьбу», тогда как первая «не подвергается опасности, поскольку «она остается недостижимой и невредимой на заднем плане» [46, С. 84].

социального порядка модерна как принципиально спонтанного можно считать следующие тезисы шотландского просветителя:

«Человечество, руководствуясь теми представлениями, которыми оно обладает в данный момент, достигает — в стремлении устранить неудобства и получить весомые и ощутимые преимущества — таких результатов, которых и не способно было предвидеть его воображение» [47, С. 189].

«Люди вообще склонны заниматься построением различного рода проектов и схем; но тот, кто возьмется строить планы за других, обнаружит, что у любого из людей, желающего самостоятельно строить свои планы, найдутся возражения против его планов» [47, С. 189].

«Даже в так называемый просвещенный век каждый шаг и каждое движение множества людей совершается с прежней слепотой относительно будущего; целые нации спотыкаются о те установления, которые, несомненно, являются результатом человеческого действия, но не результатом человеческого замысла» [47, С. 189].

«Ни одна конституция не является плодом всеобщего согласия, как ни одно правление не осуществляется по плану» [47, С. 190].

Как показывают приведенные выше цитаты, в XVIII в. в различных странах Европы распространились представления о стихийности процесса образования культурных форм и принципиальной спонтанности даже самого стабильного социального порядка. Для них заметен характерный переход от первоначальной теории действия, озадаченной проблемой непреднамеренных социальных эффектов действий эгоистических индивидов, к ранней версии теории спонтанного порядка, делающей акцент на рефлексию качества (функциональности) самих институтов, которые незапланированно возникают в результате стихийного взаимодействия конкурирующих акторов. Таким образом, задолго возникновения социологии в научно-дисциплинарном смысле здесь можно обнаружить характерно модерное, имманентное понимание общества как упорядоченной структуры *sui generis*, т.е. как само-конституирующегося, само-институционализирующегося социального порядка, не основанного ни на каком предварительном планировании. Названные выше авторы, география интеллектуального творчества которых охватывала пространство от Неаполя до Эдинбурга, выступили не только в качестве социальных аналитиков, но и в качестве диагностов наступающей эпохи. Они на разнообразном общественно-политическом и экономическом материале убедительно показали, что именно те культурные институты, которые выполняют важнейшие функции координации социального действия и тем самым стабилизации социального порядка — язык, правовые нормы, деньги и рыночный обмен, — сами возникли не в результате осуществления рационального замыс-

ла, а спонтанно сложились в качестве непреднамеренных социальных последствий индивидуальных поведенческих тактик и стратегий.

Несмотря на значительную гетерогенность традиций, представленных упомянутыми выше фигурами, между ними заметно согласие относительно позитивной функциональности спонтанных социальных эффектов (в терминологии Б. Хольцера — еуфункциональности). Общей для них, а также других авторов, о которых речь пойдет дальше, была убежденность в общественной полезности институтов, стихийно и постепенно конституирующихся в длительном процессе культурной эволюции человечества. На некоторое время подобные взгляды даже стали доминировать в социально-теоретической дискуссии на тему генезиса и онтологии социального порядка [48, S. 2–3].

При этом, с точки зрения истории идей, авторы середины—второй половины XVIII в. не были оригинальны в попытках отделить спонтанные позитивные эффекты, например, в той же экономической сфере от моральных норм. Так, в качестве их предшественников Пьер Розанваллон называет Хейлза в Англии, Монкретьена и Лаффемаса во Франции [49, С. 81]. Но самым ярким сторонником ранней концепции социально-интегрирующих последствий неупорядоченных действий эгоистических индивидов и спонтанной природы общественного благосостояния, видимо, следует считать британского философа-моралиста Бернарда Мандевиля. Именно он в своей знаменитой «Басне о пчелах» (1705) впервые эксплицитно обосновал контр-интуитивный тезис о том, что не столько *вопреки*, сколько именно *благодаря* частным интересам эгоистически мотивированных акторов возникают позитивно оцениваемые общественные эффекты — когда путем агрегации незапланированных результатов индивидуальных действий (через их взаимозависимость на рынке) происходит превращение *private vices into public virtues* [50; Рус. пер.: 51].

В Англии XVIII в. как первой стране победившего капитализма на передний план социально-теоретической рефлексии у целого ряда мыслителей выходит проблема возможности общественного блага в условиях тотальной рыночной «конкуренции всех против всех», если перефразировать классическую формулу Томаса Гоббса. В соответствии с фокусом ведущего познавательного интереса, характерного для многих представителей данной исторической эпохи, указанная проблема упорядочивания множества конкурирующих индивидуальных целеполаганий в целях стабилизации форм общежития получила различные формулировки концептуального решения. В целом они сводятся к тому, что природный эгоизм людей не является непреодолимым препятствием для установления стабильно функционирующего социального порядка, обеспечивающего устойчивый мир и процветание обществу нового типа. Мандевиль, оставаясь в рамках восходящей к Гоббсу

«негативной антропологии»²²⁾, также показывает в форме аллегии, получившей окончательный вид в 1724 году, что если люди по своей природе являются «средоточием страстей», то образуемые ими социальные институты в принципе не могут быть чем-то иным, нежели агрегированным результатом страстей эгоистических акторов. Его парадоксальное представление об институциональном развитии лучше всего выражает следующий пассаж: «...мы часто приписываем превосходству человеческого гения и глубине его пронизательности то, что в действительности обязано долговому времени и опыту многих поколений, очень мало отличавшихся друг от друга по природным способностям и благоразумию» [50, Р. 142; Цит. по: 53].

Таким образом, английский «социологический баснописец» в характерной для своего времени литературно-полемиической форме отстаивает парадоксальный тезис об амбивалентности отношений между интенциями акторов и общественным благом — когда в результате преследования индивидами частных интересов достигается позитивный социальный эффект. Более того, он становится возможен именно благодаря перманентной заботе морально сомнительных субъектов о максимизации собственной выгоды: несмотря на негативные антропологические характеристики отдельных членов общества, устойчивый социальный порядок возникает как агрегированный результат индивидуальных а- или даже анти-социальных стратегий. Мандевиль выражает свое понимание спонтанности развития общественных институтов в максимально циничной форме: «Фундамент гражданского общества держится на том, что каждый вынужден пить и есть» [50, Р. 350; Цит. по: 49, С. 72].

Развивая и иллюстрируя на разнообразном материале в стихотворении «Возроптавший улей, или мошенники, ставшие честными», а также в комментариях к нему тезис о том, что общественное благо возможно благодаря страстям и порокам его членов, Мандевиль обозначил теоретическую перспективу, позволяющую помыслить принципиально новые — стихийно-рыночные — механизмы интеграции и стабилизации социального порядка, возникшие вместе с капитализмом и основанные на свободной кооперации эгоистически мотивированных акторов. Не удивительно, что эта концептуальная рамка, эвристически чрезвычайно значимая для самопонимания обществ модерна, получила уточнение и дальнейшую разработку в трудах многих мыслителей, в том числе — у французских просветителей XVIII в. Например, отзвук идей «Басни о пчелах» можно обнаружить в теории «разумного эгоизма» Клода Адриана Гельвеция, утверждавшего, что в большинстве своем люди заняты «исключительно своими интересами» и никогда не думают «об

²²⁾ Так, он согласен с Гоббсом в том, что люди от «природы» являются эгоистами и действуют, как правило, «ради пользы или славы, т.е. ради любви к себе, а не к другим» [52, С. 301].

общем интересе» [54, С. 185]²³⁾. Не менее созвучно идеям Мандевилля утверждение Жан Жака Руссо в трактате «Рассуждение о науках и искусствах» (1750): «наши науки и искусства обязаны своим происхождением нашим порокам» [55, С. 53].

В Англии идея полемиического памфлета Мандевилля также нашла множество сторонников. Впоследствии вокруг данного тематического комплекса сложилось одно из важнейших направлений современной общественно-политической и экономической мысли — экономический либерализм. Для собственно социальной теории модерна мысль о том, что институты спонтанно возникают в длительном историческом процессе в качестве непреднамеренных последствий преднамеренных действия, открывала путь к разрешению проблемы социального порядка, альтернативный тому, что был предложен Гоббсом. Ведь в отличие от «Левиафана», новая концептуальная перспектива на генезис общественных институтов позволяла без излишней драматизации анализировать политические учреждения и законодательные нормы модерна как стихийно возникающие из конкретных частно-практических потребностей, а вовсе не вследствие абстрактного интереса (к государству). На основе этой базовой посылки в дальнейшем возник мощный интеллектуальный дискурс государственного невмешательства, получивший логически завершённый вид уже в XX веке в трудах теоретиков неолиберализма Л. фон Мизеса и Ф. Хайека²⁴⁾.

Таким образом, в Британии в период установления в XVIII в. капиталистического хозяйственного уклада и конкурентной политической системы в социально-теоретическом дискурсе одновременно утверждается идея о том, что процесс формирования общественных институтов должен описываться не нормативно-трансцендентно, а реалистически-имманентно, т.е. исходя из фактической природы человека со всеми его частными интересами и страстями, а не вопреки им. Целый ряд авторов этой эпохи был убежден в том, что теоретическую проблему конституирования социального порядка можно решить, лишь исходя из индивида и его природы [56]²⁵⁾.

При этом не менее важно, что фокус анализа смещается с непосредственного целеполагания акторов на вызываемые ими социальные эффекты, пусть даже незапланированные. Роберт Мертон в этой связи говорил о «латентных функциях» действия, которые способны трансцендировать как мотив действия, так и его последствия: в этой оптике

²³⁾ Поэтому именно на интересе как источнике всех страстей и следует основывать общество, «заменяя языком интереса тот оскорбительный тон, который сообщали моралисты своим максимам». См.: [54, С. 262–263].

²⁴⁾ Ср.: для «истинного» (в отличие от «ложного») индивидуализма основополагающие общественные институты являются непредвиденным результатом взаимодействия множества людей и вырастают спонтанно. Более того: свобода индивида не только не противоречит возникновению порядка в обществе, но сама является его источником [53].

²⁵⁾ Гоббс также утверждал, что социально-научное знание (моральная философия) возможно лишь как наука о законах человеческой природы: «И наука об этих законах есть истинная и единственная моральная философия». См.: [57, С. 123].

смысл действия не ограничен достижением конкретного результата, но выражается в производстве социологически или исторически релевантной «прибавочной стоимости» [48? S. 3].

В дальнейшем данный подход получил развитие в ранней теории институтов в форме британской моральной философии и политической экономии. Среди ее выдающихся представителей можно назвать таких шотландских просветителей, как Джон Миллар, Дэвид Юм и уже упомянутый Адам Фергюсон, по-своему пытавшихся решить «мертоновский» вопрос о социальном смысле индивидуальных действий. Но, конечно, самым знаменитым теоретиком спонтанного порядка следует считать Адама Смита²⁶⁾, который с помощью удачной объясняющей метафоры «невидимой руки» внес суггестивную образность в рациональную аргументацию социально-стабилизирующей функции рынка. Заменяя пороки (*vices*) Мандевилля на своекорыстный интерес (*self-interest*), он предложил схему структурного анализа возникшего буржуазного общества, которое через механизм разделения труда собственно конституируется в результате того, что преследование индивидами своей частной выгоды приводит к коллективному благу в виде всеобщего процветания [58, С. 288–289]. В этом смысле признание Смитом конститутивного характера незапланированных результатов действия для образования устойчивых форм человеческого общежития является важной эвристической предпосылкой возникновения социально-научного знания современного общества о себе: аналитическая оптика, фокусирующая свое внимание на социальном действии и фиксирующая при этом принципиальное несовпадение между его целями и результатами, позволяет отличать структурные моменты социального от акцидентальных. Тем самым в перспективе намечаются контуры предметного поля для социальной науки как дисциплинарно самостоятельной сферы институционализированной рефлексии процессов обобществления в условиях современности.

Примечательно, что в своем главном труде по моральной философии («Теория нравственных чувств», 1759) в котором отстаивается принцип «взаимной симпатии», А. Смит критикует Мандевилля за излишнее упрощение человеческой природы, в частности за абсолютизацию эгоистических мотивов в поведении людей. По его мнению, автор «Басни о пчелах» ошибочно «считает все страсти порочными», называя порочным любое эгоистически мотивированное действие, поскольку корыстолюбие вовсе не является пороком [59, С. 302]. Для самого Смита эгоистические интересы не являлись аморальными, поскольку именно они «побуждают возделывать землю, заменять лачуги домами, сооружать огромные города, создавать науки и искусства, которые облагораживают и облегчают наше существование» [59, С. 184].

²⁶⁾ Фридрих Энгельс даже как-то назвал А. Смита «Лютером политической экономии».

Смита-политэконом идет еще дальше Смита-моралиста: идея спонтанно возникающего общественного блага, выраженная в метафоре «невидимой руки», выходит далеко за пределы парадокса непреднамеренных позитивных последствий. Речь идет ни много ни мало о модели оптимальной самоорганизации общества посредством свободной (рыночной) кооперации, являющейся основополагающей для этого типа социально-научного дискурса. Данная объяснительная схема в свою очередь базируется на некоем идеальном представлении об автономных акторах, произвольно вступающих в опосредованное рынком социальное взаимодействие. Подобная утопически-эмансипаторная антропология автоматически суггерирует у современного читателя «Богатства народов» (1776) картину стихийно возникающего, спонтанно структурированного социального порядка, лишённого всякого внешнего принуждения. Как уже говорилось, смитовская суггестия, пусть отчасти и вытекающая из *common sense* самой эпохи, породила влиятельную дискурсивную традицию, в целом до сих пор сохраняющую верность базовым идеям шотландского просветителя.²⁷⁾

При этом самого А. Смита рынок интересовал прежде всего как наиболее эффективный механизм обобществления эгоистических индивидов: «преследуя свои собственные интересы, он [человек] часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» [61, С. 443].

Как и у Мандевиля, агрегация результатов индивидуальных действий на социальном уровне у Адама Смита принимает форму парадокса контр-финальности. «[человек] обычно не имеет в виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей. <...> Он преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения» [61, С. 443]. При этом его не смущает то, что вызывающие позитивные социальные эффекты экономические трансакции мотивированы не любовью к ближнему, а эгоистическим стремлением к максимизации собственной выгоды (т.е. носят асоциальный характер). Напротив, он крайне скептически оценивает общественную эффективность рыночных трансакций, выдаваемых их акторами за альтруизм: «Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид, что ведут торговлю ради блага» [61, С. 443]. В этом вопросе моральный философ Смит также ссылается на авторитет своего предшественника: «Поэтому всякое стремление к за-

²⁷⁾ Ср. высказывание Ф. Хайека: «В мире, управляемом давлением организованных интересов, мы можем рассчитывать не на щедрость, разумность или понимание, но лишь на открытую личную заинтересованность в том. Чтобы дать нам те институты, которых мы хотим. Проницательность и мудрость Адама Смита остаются в силе и сегодня» [60, С. 273].

ботам о пользе общества, всякое пожертвование личными интересами ради всеобщего благополучия, по мнению Мандевиля, есть настоящее притворство, которым обманывают людей, а те человеколюбивые и прославляемые добродетели... представляются не более чем презренной сделкой между лестью, с одной стороны, и тщеславием — с другой» [59, С. 298]. Но с точки зрения структурного анализа ситуации действия социального ученого Смита не особо интересует демонстративное социально-конформное поведение, поскольку для него «решение этого вопроса не имеет важного значения для определения действительной добродетели, ибо само себялюбие может быть добродетельной побудительной причиной для поступка» [59, С. 298].

Таким образом, аргумент Адама Смита разворачивается в русле традиции, восходящей к Бернарду Мандевилю: «Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, но тщетно было бы ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратиться к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. <...> Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что необходимо тебе» [61, С. 76–77]. В его основе лежит опять-таки контринтуитивный тезис о том, что позитивные социальные эффекты скорее достигаются в том случае, когда акторы ориентируются не на симпатии к другим людям, а на их потребности и нужды, поскольку таким образом потенциальные партнеры по кооперации получают однозначный сигнал о готовности контрагентов учитывать их интересы.

Конечно, здесь допускается заметное упрощение при анализе регулярности взаимодействий между акторами, вызванное тем, что в эпоху интенсивного развития (торгового) капитализма базовой моделью для британских интеллектуалов XVIII в. выступала ситуация прямого рыночного обмена. В этом смысле социально-исторически вполне объяснимо, что в данный период в качестве референтной фигуры социального агента выступал предприниматель, прежде всего — купец. Типические для него реципрокные акты дискурсивно стилизовались в виде социального взаимодействия *par excellence*. Зигмунт Бауман объяснял это социологически очевидное обстоятельство тем, что именно ранний капитализм создал практические условия для общественно успешного поведения, основанного на свободном выборе предлагаемых рынком опций. По его словам, тогда же произошло «раз-укоренение» (*disembedding*) экономической функции, выразившееся в том, что хозяйственная активность в значительной мере освободилась от нормативного контроля со стороны других функциональных подсистем (мораль, религия и пр.). Впрочем, Бауман делает оговорку о том, что даже в сфере экономики абсолютная свобода — это скорее постулат или идеальный тип, нежели реальность. Тем не менее, он настаивает на том, что ни в какой другой сфере свобода действия не приближается настолько к идеалу неограничен-

ной самостоятельности, как в хозяйственных транзакциях. Поэтому исторически именно капиталистическая экономика стала тем питомником, «где современная идея свободы была посеяна и выращена, а уж затем привита к другим ветвям все более разветвленной социальной жизни» [62, С. 63].

С учетом всех оговорок, в используемой А. Смитом и его современниками аналитической модели спонтанного порядка, базирующейся на принципе методологического индивидуализма, в качестве главного социального актора выступал индивидуализированный агент свободного рынка, основное социальное поведение которого сводилось к экономическому взаимодействию с множеством таких же рациональных эгоистов, озабоченных максимизацией собственной выгоды. При этом, говоря о общем благе как «латентной функции», следует отметить, что у британских моралистов речь не идет о том, что позитивные социальные эффекты в качестве побочных результатов не саботируют достижение изначальных интенций акторов, что характерно скорее для современных версий парадокса непреднамеренных последствий. Скорее в фокусе их интереса находилось то, что посредством институциональных механизмов (прежде всего, рыночных и иных культурных практик²⁸⁾), конститутивных для социального порядка комплексных современных обществ, можно в принципе *нейтрализовать* мотивы самих акторов, и не важно, какие они — эгоистические или альтруистические.

Таким образом, в ходе анализа преимущественно экономических транзакций, осуществляемых агентами современного им торгового капитализма, шотландские моралисты сделали интересный социологический вывод: в рамках определенного социального порядка даже социально токсичные мотивы теряют свою значимость, поскольку каким-то образом не отражаются на самих транзакциях и тем самым не оказывают негативного влияния на рамочный порядок. Это вовсе не означает, что сами мотивы акторов становятся уже не релевантными, тем не менее, при структурном анализе социального взаимодействия о них можно как бы «забыть», имея в виду институциональную логику действий индивидов [48, S. 5].

Итак, в «Богатстве народов» А. Смита и сочинениях его единомышленников сквозной является мысль о социальной *ev*-функциональности свободной кооперации акторов, преследующих собственные корыстные цели в рамках общественного разделения труда. По их убеждению, в результате подобного добровольного сотрудничества и возникает ин-

²⁸⁾ Крупный либеральный теоретик XX века Милтон Фридман в качестве примеров называет язык, развитие научного знания и культурных ценностей и правил, также возникших в результате обмена, спонтанного взаимодействия, а не сознательного планирования, подчеркивая в этой связи, что «экономическая деятельность ни в коей мере не является единственной сферой человеческой деятельности, где непреднамеренным итогом сотрудничества множества людей, преследующих свои собственные интересы, оказывается сложная и тонкая структура». См.: [63, С. 39].

ституциональная среда современного (капиталистического) типа. Спонтанный социальный порядок эпохи модерна качественно отличается от исторически предшествовавших форм обобществления тем, что в идеале для его установления и стабильного функционирования не требуется ни вмешательство трансцендентных сил, ни государственное принуждение в какой бы то ни было форме — начиная с различных ограничений индивидуальной свободы и заканчивая дидактической заботой правящих о нравах подвластного населения²⁹⁾.

С точки зрения социальной теории, радикальная новизна подхода британских моралистов заключалась в явном разрыве с классическим для философской традиции представлением о том, что *общественное благо* возможно лишь в *благом обществе*, (опирающемся на мудрость правителя или соответствующую морально-религиозную доктрину). Их главная задача заключалась в разработке концептуальной рамки, позволявшей позитивно помыслить социальный порядок вновь возникшего светского, в любом случае секуляризирующегося и отчасти уже секуляризированного или, говоря словами Макса Вебера, «расколдованного» общества модерна. Интеллектуальный вызов, на которых им пришлось ответить, заключался в необходимости признания обычных индивидов в качестве социально позитивных агентов, а не принципиально дефицитарных существ, традиционно считавшихся осколками чего-то более политически и исторически значимого (трансцендентного). Уже упоминавшийся Адам Фергюсон фиксирует кардинальное изменение оптики анализа: «Для древних греков или римлян индивид был ничем, а общество — всем. Для современных же представителей столь многих европейских наций индивид есть все, а общество — ничто» [47, С. 103]. Однако этим он не пытается оспорить очевидный факт общественной природы человека, а лишь предлагает новое решение классической социологической проблемы интеграции путем перехода с макро- на микроуровень (в духе *pars pro toto*): «Если верно все сказанное выше об отношении части к целому, и если главной целью существования индивидов является благо общества, то верно и то, что великой целью гражданского общества является счастье индивидов... <...> Интересы общества и его членов легко поддаются взаимопримирению» [47, С. 106].

²⁹⁾ Уже Гоббс и Локк исходили из того, что функционал власти заключается в защите жизни, свободы и процветания подданных, а не в навязывании содержательно конкретных представлений о благой жизни, поскольку в этих вопросах подданные могут следовать собственным убеждениям. Это понимание напрямую связано с опытом Реформации и религиозных войн XVI–XVII веков, вызванных попыткой исправить религиозные «заблуждения» с помощью насилия. В результате было отброшено традиционное (от Аристотеля до Фомы Аквинского) представление о том, что возможно достижение всеобщего согласия относительно целей добродетельного общества, учреждением которого должна заниматься политика. Отныне стало невозможно отрицать значительные расхождения в понимании целей земной жизни, поскольку любая претензия конкретного мировоззрения на универсальность вызывала столь ожесточенное сопротивление со стороны конкурирующих идеологий, что оказалось проще вынести их за рамки социального порядка и сделать личным делом граждан. См.: [60, С. 122–123].

Как уже говорилось, для предшествовавшей интеллектуальной традиции в целом была характерна подозрительность к любым проявлениям со стороны индивидов самостоятельности в суждениях, не говоря уже автономии в принятии решений. Даже самостоятельное осознание ими собственных интересов воспринималось как чреватое серьезными рисками для стабильности сообщества. Причиной этого базового недоверия к субъектности являлось как раз наличие у акторов эгоистических интересов, вынуждавших искать коллективных гарантий устойчивости социального порядка. В этом смысле Гоббсово решение проблемы порядка вполне укладывается в классическую схему надындивидуальной инстанции, подавляющей те проявления индивидуального, что несут угрозу социальному порядку («инстинкты» или «страсти»). Традиционно считалось, что лишь надежный внешний контроль антисоциальных аспектов индивидуального поведения может обеспечить безопасность совместного существования индивидов³⁰.

Адам Смит и его единомышленники порывают с этой — условно «платоновской» — линией понимания природы социального, предлагая довольно сомнительный с точки зрения морального понимания общества подход к решению проблемы порядка. Они утверждают, что при определенных условиях — важнейшим из которых является функционирование рыночного механизма — можно спокойно отказаться от бесперспективных поисков идеального правителя, а также от мало реалистичных планов воспитания идеальных граждан. Отныне во всех этих важнейших элементах домодерной традиции больше нет необходимости, поскольку стабильное и процветающее общества может возникать и сохраняться даже на основе эгоистических мотивов: «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах» [61, С. 77].

Твердая убежденность ранней теории институтов, разработанной в рамках британской моральной философии и классической политэкономии XVIII в., в том, что спонтанная кооперация свободных индивидов может приводить к созданию оптимальных культурных форм (включая сам институциональный порядок), труднодостижимых путем сознательной координации индивидуальных действий, стала своеобразным методологическим кредо для многих последующих направлений не только социальной или экономической, но и политической мысли. Эвристическая инновация данного подхода была двоякой: 1) общество рассматривалось как генетически и структурно спонтанный порядок;

³⁰ З. Бауман именно в этом усматривает причину дуализма современной индивидуальности: «С одной стороны, это естественная, неотчуждаемая принадлежность каждого человека; однако, с другой стороны, это нечто подлежащее формированию, дрессуре, воздействию со стороны законов и властей, выступающих от имени „общего блага“ всего общества» [62, С. 55].

2) обосновывалась социальная эффективность институтов, возникших в качестве побочных последствий индивидуальных действий. В ее основе лежала далеко не банальная и, по сути, контр-интуитивная идея о том, что спонтанное развитие общественных институтов исторически может быть более привилегированным, нежели рационально разработанные проекты. Подобное понимание социального порядка как (в значительной степени) непреднамеренного результата взаимодействия акторов является общим для целого ряда блестящих британских мыслителей XVIII в. — Адама Фергюсона, Иесайи Такера, Эдмунда Берка, Адама Смита и др. Помимо до сих пор удивляющей мысли о том, что свободное сотрудничество есть наиболее эффективный способ социализации рациональных эгоистов, оно содержит множество других социально-теоретически релевантных импликаций (самоконституирование общества посредством разделения труда, институционализация автономии индивидов через их взаимозависимость и пр.), представляющих непреходящих интерес для самопонимания модерна.

4 Государство модерна в международно-правовых порядках

Понятие государства так или иначе связано с различием внутреннего и внешнего³¹⁾. Государство есть там, где есть политическое *разграничение* внутреннего и внешнего, где ограничивается не просто определенная территория, на которой постоянно располагается «население» или «народ», но и сфера главных правовых решений, на которые, по идее, не может оказать влияние никто *извне*. Однако авторитетное определение *внутренних решений* — не то же самое, что стандарты, способы аргументации, специфические формулы, в которые облекаются эти внутренние решения. Задача состоит в том, чтобы выяснить, каким образом в юридической и политико-философской литературе трактуется международно-правовой контекст существования государства и влияние внешних обязательств на суверенные решения государства. В наибольшей степени, разумеется, такое влияние обнаруживается в наши дни. Сейчас, помимо государств, существует развитая сеть институтов, представляющих собой универсальные, вроде ООН, или региональные межгосударственные образования, вроде Европейского Союза. В конституции многих стран включены положения о том, что международное право и международные обязательства государства имеют приоритет над внутренним законодательством. Однако все это достаточно новые явления, которые можно правильно понять лишь в исторической перспективе, сопоставив философские трактовки международного права в момент формирования современного суверенного государства с позднейшими политико-юридическими и философскими попытками осмысления происходящего.

³¹⁾ Часть материала по международному праву, представленного в данном отчете, была использована также в работе над текстом «Государство в международно-правовых порядках», написанного в рамках проекта Центра исторических исследований НИУ ВШЭ СПб «Можем ли мы жить вместе?».

5 Великая война и международное право

Классические рассуждения, которые продолжают привлекать к себе внимание на протяжении веков, в том числе и до сих пор, задают систему координат для последующего изложения, в котором основное внимание будет уделено более современным концепциям. В нашем обзоре мы опустим многие важные этапы в эволюции трактовок международного права и рассмотрим сравнительно небольшое количество публикаций, показывающих, как изменились они, преимущественно, в части понимания государства, примерно, за сто последних лет. Эти «примерно, сто лет» можно трактовать по-разному, дело отнюдь не в круглых датах. Самым очевидным, напрашивающимся начальным эпизодом является первая мировая война (1914–1918), юбилей окончания которой приходится на следующий, 2018 год. Война означала разрушение сложившегося порядка, мир, наступивший после ее окончания и оформленный в международно-правовых документах, означал появление нового порядка, однако политико-философская и правовая мысль не является ни источником, ни простым отражением актуальных изменений. Связи здесь более сложные. Книги, написанные до войны, переиздавались и после войны, их авторы не усматривали в ней повода к радикальному пересмотру своей позиции, хотя основная интуиция фундаментальной общности субъектов международного права не могла не претерпеть изменений.

Один из самых знаменитых юристов-международников XIX в. Й. Блюнчли прямо связывал право народов с цивилизованностью³²⁾. Государства, как и люди, суть с одной стороны индивиды, с другой же — члены человечества. Но к «цивилизованному юридическому порядку», к «ясной, вполне сознательной идее юридического единства всего человечества» [64, С. 5] идти еще долго. Впрочем, Блюнчли уверен, что нормальное состояние человечества мир, а не война, и что «сила международного права не ограничивается христианскими государствами» [64, С. 12]. В число стран, на которые оно распространяется, он включает мусульманские страны, Китай, Японию. Определение, которое Блюнчли дает международному праву, довольно расплывчатое: «Международное право — признанный миропорядок, который связывает различные государства в человеческое правовое товарищество [Rechtsgenossenschaft], а также обеспечивает подданным [Angehörigen] различных государств общую правовую защиту их всеобщих человеческих и международных прав» [65, S. 59]. Гораздо важнее и интереснее то, как определяются цивилизованные государства. Задача, к выполнению которой призваны и на выполнение которой способные «цивилизованные нации», состоит в том, чтобы «образовывать общее правовое сознание человечества, а долг цивилизованных стран — в том, чтобы выполнять требова-

³²⁾ См.: [64]. См. также оригинальное издание: [65].

ния этого сознания. Именно поэтому они суть по преимуществу кодификаторы [Ordner] и репрезентанты [Vertreter] международного права» [65, S. 61]. Это гораздо важнее, чем перечисление тех, кто входит в сообщество международного права, потому что задает мерилу цивилизованности и способ обращения с ним: защиту прав «человеческих и международных», которую одни государства обеспечивают, как можно понимать, против других, в том числе в части внутренних дел и внутреннего законодательства.

Книга русского юриста и политика Ф. Ф. Мартенса «Современное международное право цивилизованных народов» (1882 г.), имевшая позитивный резонанс (она не забыта и до сих пор) и вскоре переведенная на французский и английский языки, начинается с полемики. Автор обращает внимание на то, что римское право, основной предмет преподавания в германских университетах, не позволяет понять существо международного права, так что многие немецкие юристы, в особенности практики, считают, что никакого международного права вообще нет. Споря с ними, Мартенс указывает не только на действующие обычаи и соглашения, но и прибегает к более общим аргументам. Он говорит, что есть основания для сближения народов, например, «одинаковые религиозные верования и идеи», «общие интеллектуальные и нравственные стремления», «экономические интересы и торговые сношения», «сознание общности политических интересов» [66, С. 18]³³⁾. Мартенс не отождествляет народы и государства. Он видит, что существует множество интересов и способов объединения (используя слово «кружки», он, видимо, имеет в виду также и более широкий смысл, вроде немецкого «Kreis»), которые сближают и связывают людей помимо и поверх государственных границ. Он считает, впрочем, что при полном поглощении государства обществом, то есть, например, тогда, когда государство всецело становится орудием какого-нибудь общественного класса, размежевание между народами будет больше. Нужно гармоничное сочетание государственного и общественного для развития международного права [66, С. 20–22]. Идея международного общения «лежит в основании современного международного порядка и должна быть тем верховным принципом в науке международного права, который оправдывает и связывает все выставляемые ею положения» [66, С. 22]. Эти идеи Мартенса можно обнаружить и в материалах Гаагской конференции, о которой речь пойдет ниже. Мартенс, подобно другим юристам своего века, видит, насколько непрочна, проницаема граница государства. Государством далеко не исчерпывается юридически релевантная жизнь людей.

В обширном, вышедшем в 1890 г. уже третьим изданием сочинении У. Э. Холла «Трактат о международном праве» вводное определение вполне красноречиво: «Между-

³³⁾ Современное переиздание труда Мартенса выполнено по 5-му прижизненному изданию 1904–1905 гг. См.: [67].

народное право состоит в определенных правилах поведения, которые современные цивилизованные государства рассматривают как обязательные для себя в отношениях друг с другом, причем обязующая сила их сопоставима по природе и по степени с той, что принуждает добросовестного человека подчиняться законам своей страны, при нарушении которых тоже необходимо применение соответствующих средств» [68, Р. 1]. Холл недвусмысленно акцентирует суверенитет государства. Государства независимы, они не могут никем контролироваться, над ними нет никакого авторитетного органа. Международное право нельзя вывести ни из божественного, ни из естественного права. Что же остается? — *International usage*, международная практика заключения и соблюдения договоров, поведение такого рода, как если бы орган, обеспечивающий выполнение этих правил, существовал³⁴⁾. Существование общества и моральных принципов — нерушимый и несомненный базис международного права. Впрочем, это, как мы увидим далее, вовсе не мешает Холлу вполне в духе традиции рассуждать о *легальной нормальности* войны. Его аргументы, относящиеся к цивилизованности народов, соблюдающих международное право, а также к международной практике, куда важнее. В конце XIX — начале XX в. отнесение государства или народа к цивилизованным означало признание за ним прав, в которых могли отказать другим народам, прежде всего, в праве заключать договоры, участвовать в их обсуждении и т.п. Гуманные цивилизованные нации могли сочувствовать жителям черной Африки, но дикой казалась мысль, будто те сами могут не просто постоять за себя, но именно участвовать в дискуссиях и заключении договоров³⁵⁾. Впрочем, с современной точки зрения, на дело можно посмотреть совершенно иначе: не так, что «цивилизованные народы» соглашались насчет международного права, но и не так, что «народы» соглашались взаимно признавать правосубъектность, так сказать, в одном пакете с цивилизованностью. Само международное право оказывалось способом смягчения отношений, «нежным цивилизатором наций», как назвал его, не без некоторой иронии чуть перефразируя Дж. Кеннана, М. Коскениеми³⁶⁾.

В стандартном немецком учебнике Франца фон Листа, вышедшем в разгар войны 10-м изданием, международное право рассматривается исключительно как межгосударственное дело. При этом государства являются членами общности, основанием которой как раз и служит право народов: «Общность права народов (*la communauté du droit des gens, la familier des nations*) есть постоянный и всеобщий целевой союз государств. Он ограничивается общим правовым убеждением, которое покоится на общности культуры и

³⁴⁾ См.: [68, Р. 4ff.].

³⁵⁾ Мартенс [66, С. 180] отказывает еще в возможности основываться на международном праве в отношениях с мусульманскими народами, а также языческими и дикими племенами. К этим отношениям применимо *естественное право*.

³⁶⁾ См. цит. соч.: [69]. Цитата из Кеннана содержится в эпиграфе.

интересов. Она характеризуется устойчивым и обширным общением на почве равноправия» [70, S. 2]. На этой общности культуры и интересов, продолжает Лист, основана правовая общность. Она «коренится в убеждении, что отношения государств между собой регулируются обязательными нормами. Эти нормы образуют право народов» [70, S. 2f.]. Правовая общность понимается Листом и как то, что можно было бы назвать «одинаковостью» или «сходством», и как некое подобие коллектива. Такова специфика немецкого термина «Gemeinschaft», что затрудняет его перевод на другие языки. Общность как коллектив может признать или не признавать другое государство принадлежащим к ней, объясняет он. Раньше было понятно, что речь идет по преимуществу о христианских государствах, в этом смысле еще в XIX в. говорили о «европейском концерте». Но уже в XVIII в. в состав этой общности включились Северо-Американские Соединенные Штаты, а потом и другие государства Америки, в 1856 г. на Парижской конференции в состав европейского концерта включили Турцию, быстро происходило и включение Японии. Те государства, которые еще не включены сейчас в эту общность, пишет Лист, все больше приближаются к ней через договоры, в настоящее время она включает в себя практически все страны, представленные на второй мирной конференции в Гааге в 1907 г., плюс еще несколько стран [70, S. 8]. Рассуждения об общности христианских цивилизованных стран, которые легко найти в трактатах XIX в., переходят в рассуждения о правовой общности цивилизованных стран. Мировые войны не препятствуют повторению этого аргумента. Блунчли пишет сразу после франко-прусской войны, но он предполагает, что мир более нормален, чем война. Действительно, в основном, мирное состояние в Европе устанавливается на почти сорок лет. Мартенс, Холл и Лист пишут еще до мировой войны, но цитированное издание Листа обозначено как «переработанное»; оно относится к 1915 г. и в той части, на которую мы обратили внимание, не претерпело изменений. Общность культуры и интересов по-прежнему является важнейшим пунктом.

После войны выходит один из самых знаменитых и часто цитируемых трудов по международному праву, написанный Дж. Брайерли [71]. К настоящему времени он выдержал семь изданий, чаще всего — причем настолько часто, что почти все цитирующие обходятся без точных библиографических описаний источника, — цитируется шестое издание 1963 г. Международное право здесь определяется как «корпус правил и принципов действия, которые обязательны для цивилизованных государств в их отношениях между собой» [71, P. 1]³⁷⁾. Выражение «цивилизированные нации», как видим, превратилось в тех-

³⁷⁾ Это определение воспроизводится, например, в стандартной хрестоматии [74, P. 3]. Ниже по техническим причинам цитируется в одних случаях издание 1963 г., а в других — новейшее седьмое издание [73]. Это не переиздание в строгом смысле слова, но переработка, в ходе которой современный специалист сознательно выступает в роли соавтора классического труда.

нический термин, так что, например, запрос на странице «Oxford University Press», посвященной серии изданий по международному праву, дает больше двухсот результатов³⁸⁾. Это не случайно, поскольку термин содержится в статье 38 Статута Международного Суда ООН, то есть той самой статье, которая традиционно считается важнейшей, поскольку определяет *все* источники международного права³⁹⁾. В разделе с) указаны «общие принципы права, признанные цивилизованными нациями»⁴⁰⁾. В свою очередь, такими нациями признаются все участники Статута⁴¹⁾. Такое понимание, при котором термин постепенно лишается своего основного смысла, а упор делается на социальный механизм, то есть на признание общностью тех, кто в нее входит, достойными в нее входить, В. Л. Толстых называет «социологическим подходом» и связывает с выделением международного сообщества как особой социальной реальности [78, С. 3].

Вернемся, однако, к рубежу XIX–XX вв., к Гаагским конвенциям (1899 г. и 1907 г.), принятым, соответственно, на первой и второй Гаагских мирных конференциях. В первой участвовали представители 26-ти государств, во второй — 44-х. На первой было принято 3 конвенции, на второй — 13. Документы конференции были опубликованы и широко доступны на французском и английском языках. Это серьезные цифры и впечатляющая динамика для того времени⁴²⁾. Третья запланированная конференция не состоялась, впрочем, по причине войны, предотвратить которую не могли никакие соглашения. Дух первой конференции, созванной по инициативе России, хорошо чувствуется уже в циркулярном письме, разосланном русским министром иностранных дел, графом Муравьевым, в августе 1898 г. В нем выражена уверенность, что «настоящий момент был бы очень благоприятным для изыскания, посредством международной дискуссии, наиболее эффективных средств, чтобы обеспечить всем народам преимущества настоящего длительного мира и, прежде всего, ограничения избыточного развертывания существующих вооружений» [80, Р. 1]. Во время конференции ее президент и русский представитель барон Е. Е. Стааль, говорил: «Мы ощущаем, что между нациями есть общность материальных и моральных интересов, которая постоянно нарастает... Даже если бы какая-то нация захотела быть

³⁸⁾ См.: [74].

³⁹⁾ См.: [75]. См. также: [73, Р. 63f.].

⁴⁰⁾ См. п. 1 статьи 38 целиком: 1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет: а) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами; б) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; с) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; д) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм [76].

⁴¹⁾ См. статью 93 Устава ООН: «Все Члены Организации являются *ipso facto* участниками Статута Международного Суда. Государство, не являющееся Членом Организации, может стать участником Статута Международного Суда на условиях, которые определяются, в каждом отдельном случае, Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности» [77].

⁴²⁾ См. в оценке современника: [79, Р. XVII].

изолированной, она бы не смогла... Конечно, соперничество между ними есть, но не лежит ли оно скорее в области экономической, в области великой торговой экспансии..?)». Соперничество в этом смысле приносит лишь пользу, тогда как конфликты иного рода, где бы и между кем бы они ни велись, серьезно задевают и беспокоят всех [81, Р. 9]⁴³⁾. В этом, если можно так сказать, деликатном тоне выдержаны и положения итоговых документов⁴⁴⁾, первым и важнейшим из которых в части определения принципиальных позиций является «Конвенция о мирном решении международных столкновений»⁴⁵⁾. В ней оговариваются, в частности, функции и возможности *посредника*, который мог бы в случае конфликта оказать *добрую услугу*, пока еще спор между странами не принял характер военного столкновения⁴⁶⁾. Второй была «Конвенция относительно законов и обычаев ведения сухопутной войны», в которой кодифицировались многие привычные к тому времени правила. Посредничество и услуги, как и многочисленные договоры, регулирующие ведение войны, имеют большое значение для понимания того основополагающего убеждения, которое, возможно, не столь уж легко прочитывается столетие спустя в документах демонстративно миролюбивого содержания. Они свидетельствуют о *юридической нормальности войны*. Гreve пишет, что при объявлении войны государства часто прибегали в это время к пропагандистским формулам о законности и справедливости ее объявления, о необходимости защитить национальные интересы и ущемленную честь нации, но всерьез в международно-правовой перспективе речь шла о праве на свободное ведение войны. Он цитирует У. Э. Холла: «Следовательно, у международного права нет другой альтернативы, кроме признания войны как такого отношения между ее участниками, которое они могли установить по своему выбору, независимо от того, справедливо ли она была начата, и предметом его заботы становится только регуляция результатов этого отношения. Следовательно, обе стороны в каждой войне рассматриваются как тождественные в отношении своего легального статуса и, соответственно, как обладающие равными правами» [68, Р. 52]⁴⁷⁾. Это убеждение, что воюющие стороны, как и заключающие договоры государства, имеют *равный легальный статус*, позволило предпринять меры, направленные на

⁴³⁾ Обратим внимание на слово «общность». Речь идет, конечно, о том же, о чем пишет в своем учебнике Лист. Это стандартный оборот в те годы.

⁴⁴⁾ Гreve цитирует знаменитого историка международного права Йозефа Энгеля, через шестьдесят лет после первой Гаагской конференции высказавшего примечательную претензию: Европейские страны сами ограничили свою свободу действий и пожертвовали европейской солидарностью, а тем самым лишили себя возможности дать рационально-политическое обоснование войне. Стремясь к тотальному миру, они проторили путь к тотальной войне. См.: [82, S. 476, 478, 480ff.]. Возражения Гreve см. в: [83, Р. 541ff.].

⁴⁵⁾ Мы цитируем традиционный русский перевод. На английском это звучит как «Pacific settlement of international disputes», что было бы более уместным перевести как «мирное урегулирование международных конфликтов».

⁴⁶⁾ См., прежде всего, раздел второй «О добрых услугах и посредничестве» (статьи 2–8). «Добрые услуги» встречаются уже у классиков международного права.

⁴⁷⁾ См. также: [83, Р. 532].

гуманизацию ведения войны и кодифицировать их в Гаагских конвенциях⁴⁸⁾. Сложные вопросы определения *нейтральности* во время войны и различия в понимании нейтральности со стороны английской и со стороны континентальной мы вынуждены оставить за скобками настоящего обзора, однако заметим попутно, что эти важные темы попадали в центр обсуждения именно потому, что в течение XIX в. господствовало мнение о различии между государством и гражданским обществом⁴⁹⁾, так что на конфликты государств накладывалось миролюбие общества. Предварительные результаты мы можем фиксировать уже здесь следующим образом.

С одной стороны, в трактовке государства в системе международного права мы видим непрерывную линию аргументации. Есть активные агенты международного права, государства. Они суверенны в двух смыслах: высшая власть внутри и независимость от других государств вовне. Государства могут быть цивилизованными, причем цивилизованность измеряется некоторой общечеловеческой меркой, это не государствоведческий, не политический термин. Цивилизованность имеет отношение к человечеству и ценностям. Кроме того, в перспективе такого рассмотрения всегда есть общечеловеческая общность, которая рассматривается как нечто более высокое и позитивное, чем любое политическое единство. Это сложный и спорный момент. Брайерли считал, что продолжающееся влияние Ваттеля в век, когда «„принципы легального индивидуализма“ уже не адекватны международным потребностям (если они вообще когда-либо были им адекватны) — оказалось катастрофическим для международного права. Утверждая, будто «естественное» состояние наций — это независимость, которая не допускает существования социальных связей между ними, он сделал невозможным ни объяснить, ни оправдать их подчинение праву. Однако их независимость не более естественна, чем их взаимозависимость» [73, Р. 39]. Тем не менее, Брайерли констатировал сравнительную слабость международной системы права. Здесь проблема глубже, писал он, чем просто вопрос о санкциях за нарушения; усилением санкций нельзя добиться большей действенности международного права. *Внутри* государства императивный характер права ощущается столь сильно, что в цивилизованных государствах повиновение ему стало привычным. Если бы императивный характер международного права ощущался с той же силой, за этим с легкостью бы последовало установление международных санкций» [71, Р. 72–73]. Перечисляя (напомним, что первое издание его труда вышло через десять лет после окончания Первой мировой войны) те сферы, в которых государство вполне свободно от обязательств перед другими государствами, он задается вопросом, не потерпело ли крах международное пра-

⁴⁸⁾ См.: [83, Р. 534].

⁴⁹⁾ См.: [83, Р. 539].

во? — Нет, — отвечает Брайерли. — В тех областях, в которых государства согласились его соблюдать, оно прекрасно выполняет свои функции⁵⁰⁾. Таким образом, он снова приходит к тому, что *цивилизованные* страны договорились соблюдать право, а их цивилизованность оказывается единственной содержательной гарантией того, что договоренности можно интерпретировать не просто как произвольные конвенции, которые с разным успехом могут заключать между собой кто угодно, но как конвенции в области *права*.

Одну из самых влиятельных международно-правовых концепций предложил в конце XIX в. молодой приват-доцент Генрих Трипель, который вскоре сделал блестящую карьеру и с 1913 г. был профессором права в Берлинском университете. Книга «Внутреннее и международное право» [84]⁵¹⁾ неоднократно переиздавалась, была переведена на французский язык и принесла ему международное признание⁵²⁾. Немецкие юристы, писал Трипель через четверть века после Блунчли, не очень-то склонны признавать международное право, особенно юристы-практики. Во-первых, им кажется, что все это слишком уж далеко от них, во-вторых, почва международного права слишком зыбкая, лучше на нее не становиться. Однако принять эту точку зрения невозможно: всё право взаимосвязано, только внутреннее связано более сильно, чем внешнее. А раз международное право, каким бы сравнительно слабым оно ни было, все-таки есть, надо изучать его источники и устройство. Здесь, однако, нас подстерегают уже известные трудности. Право создается волей, то есть «объявлением, что нечто должно быть правом» [84, S. 29]. Эта воля есть *источник права*, и в случае международного права не может быть волей одного государства. А поскольку сверхгосударства, творящего право для всех, нет, остается лишь *договор* между государствами. Но с договором все не так просто. Ведь при любом договоре воли участников направлены противоположным образом: один хочет, чтобы другой что-то сделал, но разве это то же самое, чего хочет другой? — Нет, при всей взаимной дополнительности волений участников договора, единой воли в нем не образуется. Поэтому подлинным источником надо считать не договор, а *соглашение* [84, S. 50f.]. Здесь тоже объявляют свою волю множество лиц, но только здесь воля каждого полностью тождественна воле другого [84, S. 52]. Поэтому при договоре каждый удовлетворяет *свои интересы*, а при соглашении — общие и тождественные. «Государства могут создать объективное право, если согласуют правило, по которому далее будет определяться их поведение» [84, S. 70]. Однако откуда берется обязующая сила соглашений? Предвосхищая многие будущие дискуссии, Трипель проницательно замечает, что правовая значимость права не может иметь сугубо

⁵⁰⁾ См.: [71, P. 78–79].

⁵¹⁾ Новейший очерк о Трипеле с переводом фрагмента текста см. в: [85].

⁵²⁾ Первое издание книги Трипеля на французском вышло еще в 1920 г. Недавно оно было переиздано с предисловием знаменитого юриста Оливье Бо. См.: [86].

правовые основания. Для тех, кто не принимал участия в соглашениях, никакое международное право не значимо. Отсюда следует, между прочим, во-первых, что и Трипель придерживается идеи *сообщества* согласных между собой стран⁵³⁾, а во-вторых, что проблема соотношения внутреннего и внешнего приобретает уже в этом изложении вполне опознаваемые в современных дискуссиях очертания. В самом деле, признавая *два* источника права, Трипель доводит рассуждение до очень точных и не оставляющих места двусмысленностям формулировок: «Но подобно тому, как исток *международного права* сам по себе неспособен к производству внутреннего права, *исток внутреннего права* не в состоянии сам по себе производить положения *международного права*. Он, быть может, способен его... воспроизвести, но отнюдь не способен создавать» [84, S. 125f.]. Разумеется, во времена Трипеля вопрос о подчинении внутреннего законодательства международному праву и автоматического приведения внутреннего законодательства в соответствие с внешними обязательствами и соглашениями государства еще не стоял в такой форме, которую он принял впоследствии. Гораздо острее был вопрос о соблюдении взятых на себя обязательств⁵⁴⁾.

Согласие даже европейских стран по поводу того, что считать соответствующим праву, причем именно в период до 1914 г. (недаром на сочинения, созданные в это время, юристы-международники ссылаются до сих пор), нельзя переоценивать. О сложностях, которые подстерегают здесь исследователя, не так давно писала Изабель Халл в связи с историей Первой мировой войны. С одной стороны, пишет она, британская и германская трактовки права радикально различались (*common law* и континентальное право), при этом Франция примыкала к Германии в трактовке права в русле континентальной традиции, а к Британии — как ее союзник в войне против Германии. С другой стороны, литература, вышедшая в свет после 1919 г., по большей части не дает увидеть всю важность различий в понимании права между воюющими сторонами [89, P. ix–x]. Несмотря на принятие Гаагских конвенций, фундаментальные разногласия между европейскими государствами означали, что кодифицированное право войны (Гаагские правила) ничего не говорит о важнейших вопросах, что повышало важность правил интерпретации. Вообще, европейские юристы были согласны в отношении многих важных вещей, продолжает Халл,

⁵³⁾ То есть принадлежит к числу тех, замечает современный исследователь Роланд Портер, кто одно лишь государство считает юридическим лицом. См.: [87, P. 42–45]. См. также у фон Богданды, который именно в виду новой политико-юридической реальности Европейского Союза констатирует: «Союз — не государство. Таково мнение подавляющего большинства правоведов. Тем не менее, именно с государством по-прежнему в первую очередь соотносятся в массе своей все прочие юридические рассуждения — иногда более, иногда менее открытым образом. Да и как бы это могло быть иначе? До сих пор государство было единственной формой политического и юридического правления» [88, P. 213].

⁵⁴⁾ В 1919 г., в знак протеста против Версальского мира, Трипель вышел из состава «Института международного права». Коскением называется это наглядной иллюстрацией его национализма. См.: [69, P. 211].

перечисляя темы, так или иначе упомянутые выше в настоящем обзоре⁵⁵⁾. Признавалось, что право создается сообществом совместно действующих государств, причем это в их общих интересах, несмотря на отдельные расхождения, потому что всем нужна именно *система*. Далее, договоры считались в особенности важной составляющей права, потому что обладали особой ясностью, приближавшей их к кодифицированному внутреннему праву стран-участниц. Поэтому *pacta sunt servanda* — *договоры должны соблюдаться* — это ключевой принцип, без которого обрушивалась бы вся система права. Добросовестность договаривающихся была важна даже во время войны. Но помимо принципа *pacta sunt servanda*, был еще и другой принцип *rebus sic stantibus* — *если не изменится положение дел*⁵⁶⁾. Принятие разного рода оговорок было беспокоящим обстоятельством для тех, кто выше всего ставил устойчивость скрепленного правом порядка⁵⁷⁾. В современном международном праве действует Венская конвенция о праве договоров (1969 г.), в которой (статья 62) устанавливается, что, в общем, за немногими исключениями, нельзя ссылаться на «коренное изменение обстоятельств»⁵⁸⁾, разве что договор предполагал, что будет исполняться при тех обстоятельствах, которые фундаментально изменились или же перемена обстоятельств такова, что меняет характер обязательств. Однако, например, если договором установлена граница, то ее изменение невозможно⁵⁹⁾. Несмотря на отсутствие столь четких регуляций, действия Германии во время войны были однозначно интерпретированы победителями на основании существовавших тогда конвенций как нарушение международного права. Дело было не просто в том, что Германия начала войну и вторглась на нейтральную территорию. Сама война велась с нарушением конвенций. Знаменитый историк Мартин Гилберт приводит характерные примеры нарушения международного права с обеих сторон. Так, немецкие войска в Бельгии, сразу сломив ее регулярную армию, столкнулись с эффективными вольными стрелками, снайперами, и обрушили тотальные репрессии на мирное население, уничтожив крошечный городок Эрве. Это шло

⁵⁵⁾ См.: [89, P. 18ff.].

⁵⁶⁾ Этому принципу и его значению для международного права была посвящена книга знаменитого немецкого юриста Эриха Кауфмана. См.: [90]. Кауфман прославился решительным отрицанием международного права в пользу национального. Его слова: «Социальным идеалом является не сообщество свободно волящих людей, а победоносная война» [90, S. 146] приобрели широкую известность. Уже после Первой мировой войны он резко критиковал неокантианскую теорию международного права Ханса Кельзена, о которой речь пойдет ниже. Коскенниemi указывает на то, что Кауфман никогда не отказывался от своей концепции и считал, что в ранней книге в зародыше находятся все его позднейшие идеи. Это важно, поскольку он прожил долгую жизнь и консультировал еще и правительство ФРГ. См.: [69, P. 180ff.].

⁵⁷⁾ См.: [91].

⁵⁸⁾ См.: [92].

⁵⁹⁾ Комментаторы пишут, что формула *rebus sic stantibus* восходит к Джентили, оставалась спорной на протяжении веков и бурно обсуждалась в XX в. На конференции ООН перед принятием конвенции особенно жаркими были споры о том, можно ли включать сюда вопрос о границах, а также, для одной из сторон, прекращать исполнение договора, ссылаясь на коренное изменение обстоятельств. См.: [93, P. 1075, 1077ff.].

вразрез с Гаагской конвенцией 1907 г., в которой прямо были предусмотрены случаи самоорганизации гражданских для отпора агрессии: они не попадали под понятие преступления, совершенного некомбатантами. Апелляции бельгийского правительства к международному праву действия не возымели [94, Р. 36]. С другой стороны, англичане, вопреки протестам нейтральных государств и также вопреки Гаагской конвенции, минировали Северное море в ответ на аналогичные, хотя и более скромные по масштабам, действия немцев. Это было чрезвычайной мерой, и нарушения международного права не остановило англичан [94, Р. 102].

Было бы целесообразно в этом месте отойти от узко юридических вопросов. Нарушение международного права, неэффективность Гаагских конвенций, отказ Германии признавать неправомерность своей политики, несогласие ее с интерпретацией немецкой вины победителями и т.п. не просто означали крушение того порядка и единства того сообщества, которое казалось единственной возможной основой действенности международного права. Это дало толчок научной мысли, в том числе и в Германии, и, хотя протест против мнения победителей определил не только интонации, но и основное направление немецких разысканий, они оказались в научном плане очень продуктивными. Именно отсюда, считает И. Халл, берет начало, в частности, реалистская интерпретация международных отношений в классических трудах Х. Моргентау, опиравшегося на труды Г. фон Трейчке и М. Вебера⁶⁰). Если историк и политик Трейчке, специально не занимавшийся юриспруденцией, не представляет здесь для нас интереса, то Вебер, юрист, социолог и политик, заслуживает большего внимания, как, разумеется, и сам Моргентау.

Воззрения Вебера на международную политику, особенно те, что нашли отражение в публицистике военных лет, известны меньше, чем его сочинения по теории государства и политической социологии. Между тем, они представляют значительный интерес. Мы остановимся, прежде всего, на важном докладе «Deutschland unter den europäischen Weltmächten» («Германия среди европейских мировых держав»), произнесенном в конце октября 1916 г. и вскоре изданном в виде статьи. После смерти Вебера эту статью неоднократно перепечатывали в сборнике его политических работ [95]⁶¹), как и статью «К вопросу о заключении мира». Она была написана годом раньше, когда Германия, как напоминает издавшая рукопись Марианна Вебер, еще находилась на вершине военных успехов [97, S. 140]. Холодная, критическая оценка перспектив мира со стороны Вебера пришлась не ко времени, и статья не была опубликована. При этом ряд основополагающих оценок гео-

⁶⁰) См.: [89, Р. 14].

⁶¹) Последнее издание под редакцией Й. Винкельмана: [96].

политического положения Германии и задач ее международной политики оставались у Вебера неизменными.

Вебер был одним из самых ярких либеральных мыслителей своего века, но также и немецким националистом, ставившим, как он сам говорил, интересы нации и национальную точку зрения выше партийной. Он был противником пацифизма и никогда не соглашался с тем, что Германия одна виновата в войне, не приравнивал поражение к вине и не раскаивался. Все это противоречило его представлению о деловитой политике, отвечающей сути вещей и национальной точке зрения. Политику «должны определять лишь наше международное положение и внешние интересы» [95, S. 157]. Германия, таким образом, представлялась ему в международном отношении неким единым целым, у которого есть свои особые интересы, не сводимые к интересам не только отдельных людей, но и отдельных групп, классов и сословий. Может показаться, что Вебер лишь продолжает традицию политического реализма. Несколько раз в эти годы он рассматривает фактические обстоятельства, определившие, по его мнению, не только вступление Германии в войну, но и перспективы заключения мира. Оставшаяся в рукописи статья о мире начинается так: «Заключение мира со стороны европейской державы, которая находится в нашем географическом положении и также и в будущем намерена вести «мировую политику», должно основываться на том, что, кроме нас, есть еще шесть других держав, желающих того же самого, причем несколько самых сильных располагают для этого достаточной мощью у наших границ. Отсюда следует, что никакая, даже самая полная победа не позволит нам исполнить это намерение. Мы не сможем проводить мировую политику, если есть шанс, что при каждом шаге с нашей стороны мы будем наткаться снова на ту же самую коалицию, которая образовалась на этот раз против нас. Надо оставить открытой возможность в перспективе договориться с одной из самых сильных из этих держав. Это отнюдь не может состояться сразу, но условия мира должны быть такими, чтобы не исключить эту возможность на долгое время» [97, S. 130].

Вебер говорит о том, что на Востоке, за границами Германии, у нее есть культурные задачи. Эту точку зрения он обосновывает и в знаменитой работе «Между двух законов», написанной в том же 1916 г. «„Большой“ по численности, организованный как властное государство народ уже в силу одного того факта, что теперь он именно таков, обнаруживает, что перед ним — совершенно иные задачи, чем перед такими народами, как швейцарцы, датчане, голландцы, норвежцы. Конечно, это ни в коей мере не означает, будто бы „малый“ по численности и мощи народ является поэтому менее „ценным“ или, в исторической перспективе, менее „важным“. Просто, как таковой, он связан иного рода обязательствами и как раз поэтому имеет иного рода культурные возможности» [98,

S. 142]. Речь идет именно о *реально-политическом значении культуры*. Только общность культуры — языка и литературы — создает национальное единство людей, готовых к жертвенной самоотдаче. Государство может их подчинить, у него, скажет Вебер позже, есть в монополия на легитимное физическое насилие, но мотивировать, вызвать желание жертвовать собой оно не может. Значит, культурная задача за пределами Германии не может состоять в том, чтобы насаждать немецкую культуру⁶²⁾! В современном мире нельзя достичь полного единства трех принципов проведения границы: культурная общность, военная безопасность и общность экономических интересов могут быть лишь сбалансированы на основе компромисса. «Наши внешние интересы, — говорит Вебер про Германию, — в значительной части обусловлены чисто географически. Мы — властное государство. Для каждого властного государства соседство другого властного государства мешает свободно принимать политические решения, потому что приходится учитывать соседа. Для каждого властного государства желательно быть окруженным как можно более слабыми государствами или как можно меньшим числом других властных государств. Однако такова наша судьба, что лишь Германия граничит с тремя великими континентальными державами (Landmächte), да к тому же и самыми сильными вблизи от нас, а помимо того, непосредственно соседствует еще и с величайшей морской державой, и всем им она стоит поперек дороги. Такого положения нет больше ни у одной страны в мире» [95, S. 158]. Этот — снова реально-политический — аргумент дополняется другим, культурным: «В историческом бытии народов у могущественных государств и у внешним образом малых наций есть своя длительная миссия... Почему же сами мы обрекли себя на эту политическую судьбу, отдались закланию власти? Не из тщеславия, но ввиду ответственности перед историей. Не от швейцарцев, датчан, голландцев, норвежцев станет потомство требовать отчета за то, какую форму примет на Земле культура. Не их, а нас — с полным на то правом — оно станет бранить, если в западной полушарии нашей планеты не останется ничего, кроме англо-саксонских конвенций и русской бюрократии... Народ, насчитывающий семьдесят миллионов человек и живущий между такими мировыми завоевателями, должен был стать властным государством... Этого требовала честь нашего народа. Немецкая война — мы не забудем этого — является делом чести, а не вопросом изменений на карте или извлечения экономической выгоды» [95, S. 166].

Мы видим, что Вебер, с одной стороны, призывает к трезвой оценке национальных интересов и выводит эти интересы во многом из географического положения своей страны, но, с другой стороны, решительно отказывается считать эти интересы в первую оче-

⁶²⁾ Это, кстати, прямо противоречило неоднократно высказанному убеждению высших кругов Германии, включая кайзера, что именно немецкая культура является смыслом и оправданием немецкого движения.

редь экономическими. Политика в деле войны берет верх даже над экономикой, а не только над частными интересами граждан и классов. Представления о своем величии или взаимное недоверие могут быть источником войны. В этой области трудно, а на долгое время едва ли возможно добиться прочного и гуманного международного порядка. Скорее, речь может идти о деловитости и дальновидности. Однако: что значит деловитость в отношении политики? Что в международных отношениях может считаться «существом дела»? Вебер настаивает на том, что такие по видимости идеалистические соображения, как честь или унижение, — это вполне реальные источники политически значимого поведения, действий народов и государств. Уже после Версальского мира он говорил о его ненадежности, потому что «нация» скорее переживет поражение, чем унижение. Он предлагал победителям смотреть на дело холодно и объективно, он говорил: мы проиграли, вы победили, с этим покончено, перейдем к тому, как дальше строить отношения, не занимаясь постоянными унижениями немцев, не объявляя их единственными виновниками войны, не добавляя к чисто объективному факту поражения соображений морали. Это значило, однако, что деловитость, возведенную в принцип, в императив, он пытался противопоставить другим политическим соображениям, с которыми подходили к Германии победившие ее союзники. В этом — главное внутреннее противоречие всей его позиции. «Объективность», «реализм», отказ от пустой болтовни в пользу делового подхода в международной политике — это *требования*, а вовсе не описание реально существующего положения дел. Это требования честного политического языка, который, по замыслу, должен быть принят даже противниками, чтобы не осложнять отношения, чтобы не усугублять ситуацию. Но эти требования раздаются со стороны того, кто также настаивает на некоторой всемирно-исторической миссии своей страны, благодаря которой, как считает Вебер, возможен не только мир, покой и процветание хотя бы в зоне ее региональной ответственности, но и сохранение культурно-политического разнообразия малых наций, неспособных постоять за себя в конфликте могущественных государств. Вебер, как ему кажется, реалистически делает предложение о зонах влияния и ответственности, предложение согласиться с тем пониманием культуры и исторической миссии великих государств, которое есть у немцев.

С точки зрения международного права, о которой мы не должны забывать, рассуждения Вебера интересны как раз тем, что право в них практических не упоминается. Это не случайно. В известнейшем и самом позднем своем сочинении, первой главе «Хозяйства и общества», известной как «Основные социологические понятия», Вебер пишет (§ 6): «„Право народов“, как известно, вновь и вновь постоянно отказывались признавать „правом“, потому что у него нет надгосударственной принудительной силы. В терминологии, которую мы здесь выбираем (по соображениям целесообразности), порядок, который

внешне был бы гарантирован только ожиданием неодобрения и репрессий со стороны того, кому нанесен ущерб, т.е. гарантирован принятыми условностями и состоянием интересов, при том, что нет штаба людей, настроенных в своих действиях специально на его соблюдение, действительно нельзя было бы назвать правом. Конечно же, для юридической терминологии может быть вполне справедливо обратное. Средства принуждения здесь иррелевантны»⁶³⁾. Понятно, что, обособляя юридическую сферу, область юридической аргументации, Вебер имеет в виду, в том числе, авторитетные сочинения Блунчли и Трипеля, в частности, рассуждения последнего о том, что международно-правовые нормы — это одно, а правовые нормы, регулирующие санкции за нарушение международно-правовых норм — это другое. Право не перестает быть правом от того, что нет инстанции гарантированного принуждения, — но только с точки зрения юриста!

Это, однако, приводит к более трудным вопросам, ставить которые Вебер не захотел или не успел. Если право государственное и негосударственное не отличаются, или же если они отличаются только тем, что во втором случае нет принуждающей инстанции, то, конечно, рассыпается вся конструкция, в которой юридическое и политическое взаимосвязаны. Легитимность и легальность, устройство государственной власти, профессиональное призвание политика и многое другое, что входит в концепцию государства у Вебера, оказывается куда менее значимым или получает другой смысл, если ставить проблему международно-правового статуса политической общности. Сфера нормативного за пределами государственных границ для Вебера — это сфера культурного доминирования в определенном ареале великой исторической нации, берущей под защиту культурное многообразие малых стран. Но, отказавшись считать эту область правовой, Вебер потерял и все те результаты, которых добилась наука международного права. В сфере научной он отстаивал социологическое отношение к фактичности, усомнившись в неокантианской и юридической трактовках нормативного. Но нормативное снова вернулось в его рассуждения через ценность культуры, поставив, таким образом, под сомнение исключительность методологии «реальной политики». В трактовке государства Вебер исходил из того, что политические общности, которые изначально могли быть мобильными и не привязанными к территории, с течением времени, в ходе истории, становятся оседлыми, экспроприируются князьями и их свитой, то есть теми, кто впоследствии превращается в профессиональных политиков, управляющих государственными машинами. Государство — это политическая общность-монополист, профессиональные политики и управленцы, которые внутри государственных границ обладают средствами принуждения, легитимного насилия. Для объяснения этого международное право не требуется, оно является внешним па-

⁶³⁾ См.: [99, S. 17]. Перевод цит. по: [100, С. 111]. Перевод частично исправлен.

раметром существования государства, но игнорировать его нельзя. Решать эти проблемы пришлось уже младшим современникам Вебера Гансу Кельзену⁶⁴⁾ и Карлу Шмитту.

Шмитт сравнительно поздно занялся международным правом. Он исследовал вопросы внутреннего устройства государства и судебной власти, а также внес большой вклад в изучение осадного и, позже, чрезвычайного положения, диктатуры и парламентской демократии. Но положение в Германии в сильной мере определялось именно тем, что она была проигравшей стороной в войне, рассматривалась как агрессор. Ситуация менялась медленно и с большими трудностями, в частности, благодаря вмешательству США и Англии. Фактически суверенитет Веймарской Германии был серьезно ограничен, а единство страны, обретенное менее полувека назад, находилось под угрозой сепаратизма, который поощрялся извне, в частности, Францией. Поэтому связь внутренней и внешней политической и правовой проблематики была очевидной. Рассуждения Шмитта о единстве народа, суверенитете, внятном различии друга и врага были не просто актуальными, они были формулами политической философии, обращенной не только к специалистам, но, собственно, ко всем образованным согражданам. Ее особенностью было то, что положение дел она проясняла через емкие формулы права, имеющие внятней политический и юридический смысл. Обращение к международному праву было для Шмитта интересным и в научном, и в практически политическом плане. Тематизируя международно-правовую проблематику в исследованиях о понятии политического, он соединял в одном изложении внешнее и внутреннее: внутреннее, конституционное устройство страны зависит от воли народа, от его учредительной власти, но ведь народ, государство соприкасается с другими народами и государствами, внутреннее решение по определению суверенно, только если обеспечен внешний суверенитет, а необходимость подчиняться внешним силам ставит под вопрос полноту суверенитета. И вопрос этот может быть переформулирован так: На каком основании? Как совместить демократическое устройство, в котором народ является источником всей власти в государстве, со статусом оккупированной страны, не свободной в распоряжении своими богатствами, армией и самой территорией? Немцы знали, что фактически они проиграли войну, однако характер установившегося нового мирового порядка был неясен. Могло ли быть его основой одно только фактическое вооруженное превосходство победителей? Важнейшим институтом регуляции международных отношений была в то время Лига Наций, в которую, однако, не входили ни США, ни Германия, ни Советская Россия. Уже одно это влекло за собой много политико-юридических проблем. Международно-правовой вопрос заключался не в том, чтобы од-

⁶⁴⁾ Достаточно обычным является в наши дни сопоставление (или противопоставление) Трипеля и Кельзена как сторонников, соответственно, дуалистической и монистической концепции права. Такова, например, точка зрения Анны Петерс. См. в русском переводе: [101]. Оригинал: [102].

ной только силой принудить Россию (а впоследствии СССР) и Германию к следованию решениям Лиги Наций. Задача организации состояла в обеспечении мира, притом — мира, имеющего легитимный, правовой характер. Но кто и как будет определять эту легитимность? Каким образом она окажется легитимностью для всех, в том числе и не входящих в организацию стран? Наконец, как совместить легитимность международного права и права государственного? В этой ситуации абстрактные рассуждения Ханса Кельзена о единстве права, в котором основанием значимости всякой нормы должна была считаться более высокая норма, оборачивались политически очень важными результатами: международное право Кельзен ставил выше государственного⁶⁵⁾. Шмитт же занимал прямо противоположную позицию, но это не значит, что он просто отрицал значимость международного права. Он видел его уязвимость и не верил в то, что построенная в Европе система может удержать мир от новой войны. По отдельным вопросам и общей проблематике международного права Шмиттом написаны десятки работ, знакомство с которыми позволяет лучше понимать его политико-философские сочинения. В более поздний период творчества Шмитта мировая политика заняла основное место в его исследованиях, но некоторые воззрения не изменились.

Уже в работе «Ключевой вопрос Лиги Наций» (1924 г.)⁶⁶⁾ Шмитт ставит под вопрос территориальный порядок, сложившийся после мировой войны. Он воспроизводит агрессивную риторику войны, однако превращает ее формулы в юридически-политическую проблему: есть страны, население которых, работающее и быстро растущее, нуждается в приращении земель. Можно ли держаться простого принципа *status quo* и гарантировать территориальную целостность всех стран? Дело, говорит Шмитт, совсем не в этом. Интерес представляет легитимность этой гарантии. Какие бы разумные речи ни велись о естественном росте какого-либо народа и его потребностях, отсюда еще не вытекает никаких правовых оснований для экспансии, когда «жизненные силы» одного народа наталкиваются на территориальные владения другого. Если речь идет не просто о политических интересах, но о праве, то в чем оно состоит? «Великие державы, разумеется, при каждом удобном случае заявляют о своем уважении к праву. Но они не допускают, чтобы кто-то

⁶⁵⁾ Этой позиции Кельзен придерживался еще со времен первой мировой войны, подтверждая и разрабатывая ее в «Общем учении о государстве» и «Чистом учении о праве» между войнами и после второй мировой войны. См., например: [103, S. 138–162]. См. о связи его политической философии и философии права с неокантианством: [104]. Более подробно о позиции Кельзена будет сказано ниже.

⁶⁶⁾ В 1926 г. Шмитт переделал ее в брошюру с тем же названием. См.: [105]. В 1924 г. активно обсуждался вопрос о вхождении Германии в Лигу Наций. В этом же году был принят так называемый «Женевский протокол» о мирном урегулировании международных споров, в котором агрессивная война впервые была названа международным преступлением. Шмитт очень подробно останавливается на Версальском мирном договоре и последующих шагах Лиги Наций в «Номосе земли». Его позиция принципиальным образом не изменилась в этой части за четверть века (1924–1950 гг.). Ниже мы процитируем его важнейшие рассуждения.

другой, кроме них, решал, что в каждом конкретном случае есть право, и всегда будут оставлять для себя возможность создавать, наряду с универсальным, особенное право народов, которое, в соответствии с позитивным учением, будет считаться таким же правом народов, как и другое. Чтобы изменить это, учение о праве народов должно найти такой принцип, который бы в случае коллизии естественных и разумных интересов народов и государств предлагал бы им юридический масштаб. Должен быть найден принцип легитимности, который бы не давал вечную санкцию для *status quo*, что, как показывает весь исторический опыт, бессмысленно, но и не отдавал неизбежные изменения на волю случая — политической констелляции и властным интересам» [106, S. 13]. Шмитт вновь и вновь возвращается к тому, что такого принципа у Лиги Наций нет и что обсуждать основные, принципиальные вопросы она не хочет. «Если урегулирование всех международных противоречий будет организовано так, чтобы подчинить государства юридическому или, по меньшей мере, формализованному процессу, то, если подчинятся ему действительно все, от права народов будут ждать тогда разрешения самых страшных конфликтов — без ясных принципов и без четких правил, но во имя права» [106, S. 23]. Право страдает от стремления реализовать право, говорит здесь Шмитт, и мы уже опознаем в этих словах его позднейшие рассуждения о том, что самые страшные войны ведутся во имя гуманности. Однако отсюда — еще очень длинный путь до поздних рассуждений Шмитт о пространственно-правовой организации политической жизни. Невозможно даже кратко суммировать здесь его идейную эволюцию, которую сам Шмитт в ретроспективе пытался представить как выражение некоторой единой позиции. Сборник его академических (не публицистических) сочинений по теории политики и международному праву, выпущенный в 1940 г., «Позиции и понятия», недаром продолжается подзаголовком: «В борьбе против Веймара — Женевы — Версаля»⁶⁷⁾. Шмитта не устраивает ни порядок Веймарской Германии, возникший на руинах кайзеровской, ни Версальский мир, закрепивший поражение Германии, ни международно-правовое устройство, выражением которого стала Лига Наций. Однако значительная часть того, что имеет смысл анализировать в рамках настоящего обзора, в наиболее продуманном и взвешенном виде представлена в его послевоенном сочинении «Номос земли в праве народов *ius publicum Europaeum*». К ней мы и обратимся, однако предварительно дадим слово Гансу Кельзену, о котором уже упоминали выше.

Ранние работы Кельзена, в которых он обосновал свою точку зрения, выходили еще до первой мировой войны (с 1911 г.), однако во многих отношениях его позиция осталась неизменной на протяжении всей научной карьеры. Кельзен развивал темы, отве-

⁶⁷⁾ См.: [107].

чает критикам⁶⁸⁾, обращается к новым областям для анализа, делает аргументы (уже в эмиграции) более доступными для американского читателя. Но по сути это те же самые аргументы. Таким образом, мы можем, вынося за скобки вопрос о его идейной эволюции, выбирать те места, цитировать те высказывания из работ Кельзена разных лет, которые представляются нам наиболее удачными, соединяя в одном изложении более ранние и более поздние сочинения.

В общем, та сторона учения Кельзена, которая представляет для нас наибольшую важность, хорошо известна. Нормы права низшего порядка получают значимость от норм более высокого порядка, так что нормы международного права более значимы, чем нормы государственного права любой страны. Однако ценность представляют детали обоснования, тем более что Кельзен явственным образом идёт наперекор большинству авторов своего времени, считавших государство высшим политико-правовым единством. В одной из позднейших книг, написанной уже в конце Второй Мировой войны в США «Общей теории права и государства» Кельзен пишет: «Право есть порядок человеческого поведения. «Порядок» есть система правил. Право — это не правило, вопреки тому, что иногда утверждают. Это комплекс правил, имеющий характер такого единства, под которым мы понимаем систему. Невозможно понять природу права, ограничивая своё внимание одним-единственным изолированным правилом. Отношения, связывающие между собой отдельные правила юридического порядка, также существенны для природы права» [109]. Очень показательным, что Кельзен уже в ранних работах отказывался признавать истинным правопорядком *фактическое* навязывание правила, *фактическое* следование навязанному правилу. Напомним, что навязывание порядка, монополия на насилие, которое применяется при таком навязывании, — ключевой момент в понимании государства у Вебера. Кельзен, подобно Веберу, противопоставлял социологию учению о праве, то есть изучение фактического порядка изучению нормативного, но он, в отличие от Вебера, становился на сторону юриспруденции, а не социологии. Здесь есть, однако, важный нюанс. Кельзен считается представителем правового позитивизма, он сам себя так характеризовал. Но позитивисты, то есть сторонники изучения фактически действующего права, аргументировали в Германии совсем по-другому, и Кельзен не соглашался ни с ними, ни с теми, кто, занимаясь юриспруденцией, переходил на позиции социальной науки, которой Кельзен противопоставлял правоведение. «Социальная действительность государства есть предмет социально-научного, ориентированного, подобно естественным наукам, на каузальные законы познания, которое называется социальным учением о государстве и в настоящее

⁶⁸⁾ В предисловии к новейшему переизданию «Чистого учения о праве» М. Йештедт на четырех страницах перечисляет его критиков, правда, добавляет сюда же и куда более краткий список тех, кто решительно выступал в его поддержку. См.: [108, S. XII–XVI].

время рассматривается как составная часть социологии... [Право же] подпадает под понятие нормы, оно понимается как совокупность правил, как комплекс заповедей и запретов, как система предписаний, которые могут быть выражены формулами долженствования или императивами, как порядок человеческого поведения. И существование права — в отличие от существования государства, — принимается не в каузальной реальности, а в нормативной идеальности»⁶⁹⁾. Позитивным он называл право потому, что создается оно людьми и людьми же аннулируется, причем исходят они из сугубо правовых соображений, а не из божественных заповедей или морали, как об говорят сторонники естественного права⁷⁰⁾.

Конечно, пишет Кельзен, можно исходить из того, что, раз государство существует, оно способно подавить сопротивление и создать систему действующих норм. Но кто о них судит и как? Можно ли считать, что нормы действуют, как законы природы? Для Кельзена такой взгляд — непозволительная натурализация. «Суверенитет следует познавать не как реальное и потому поддающееся эмпирически-индуктивному наблюдению свойство, присущее реальному физическому или психическому природному объекту воспринимаемых во внешнем мире фактов, но как предположение, предпосылку в мышлении постигающего государство и право наблюдателя. И если, например, суверенитет утверждается как существенное свойство государства, то это означает, что порядок (причём порядок принудительный) может считаться правовым и государственным порядком лишь постольку, поскольку я, наблюдатель, предполагаю этот порядок в качестве высшего, ни из чего далее не выводимого — что только и означает „суверенного“» [111, S. 14]. Но это именно такая социологическая постановка вопроса, которую он считает неприемлемой и отвергает, равно как и психологическую. Психологические и социально-психологические причины, по которым наблюдатель признает суверенность государственного порядка, иррелевантны для его правовой значимости. Но отсюда следует также и нечто более важное: фактическая мощь государства, насилие, которое оно монополизировало, не являются юридическими признаками суверенитета. Кельзен высказывается с полной определенностью: сила, исходящая от права, — это не сила в собственном смысле, но компетенция, которая только потому и является правовой, что получает собственный смысл от права. Следовательно, ключевым является другой вопрос: о каком праве должна идти речь? Ведь фактически в государстве могут действовать им же самим установленные правила, а тогда порядок государства совпадает с порядком права, государство тождественно правопорядку. Это можно трактовать и так, что государство действует в соответствии с правом. «Правопо-

⁶⁹⁾ См.: [110, S. 2].

⁷⁰⁾ См.: [109].

рядку как объекту, то есть как системе объективно значимых норм человеческого поведения, соответствует право как субъект — личность государства» [111, S. 18]. Но если это субъект, подчиненный нормам, то можно ли его считать чем-то высшим? Суверенитет государства можно понимать двояко: как высшую власть по отношению к подданным и как независимость от других государств. Но, строго говоря, во втором случае о суверенитете говорить нельзя, суверенитет — это превосходная степень, а превосходить другие государства в юридическом смысле никакое отдельное государство не может. Значит, оттого, что оно стоит над гражданами, оно еще не становится в полном смысле слова сувереном. Значит, государству нужна и внешняя независимость? Независимость от чего? От созвездий на небе государство тоже независимо, но не в этом же дело! Если речь идет о правовой *координации* государств (Кельзен использует тот же термин, что и Трипель), значит, должен быть какой-то высший авторитет, какая-то «точка отнесения» для всех. Этот общий авторитет и есть международное право⁷¹⁾. Государство может действовать правовым образом лишь в пределах своих полномочий, а определяются эти пределы международно-правовым путем. Если же оно действует вопреки международному праву, то хотя бы оно создавало правовые нормы, в правовом отношении его действия *ничтожны*. «Международно-правовое обязательство должно познаваться как составная часть государственного правопорядка или же государственный правопорядок — как часть международно-правового» [111, S. 146].

Таким образом, строго монистическая, как не устает подчеркивать Кельзен, концепция приводит к тому, чтобы не переоценивать государственное, внутреннее право. «Основанием значимости правопорядка, будь то правопорядок отдельного государства, будь то международного права как единой системы норм, я всегда считал не чистое, бессодержательное долженствование, но конкретную, содержательную основную норму, значимость которой может утверждать не абсолютный, но лишь гипотетический [ее] характер. ... Лишь через особое содержание основной нормы (которая считается высшей нормой) долженствование становится *правовым* долженствованием» [110, S. 101]. Это и есть знаменитая «лестница» или «ступенчатая конструкция» Кельзена. «Связь обоснований, в которой находятся правовые нормы, основывается на *норме*, на основной норме, которую я охарактеризовал как гипотезу первоисточка. Она производит единство в многообразии „эмпирических“, то есть позитивных правовых формул, норм, фактов, лишь ступенчатое сведение конкретной правовой нормы к этой основной норме обосновывает ее место в системе определенного правопорядка» [110, S. 102]. Рассуждения Кельзена об «основной норме» сложны и весьма формальны, на что не уставали указывать его критики. Однако в

⁷¹⁾ См.: [111, S. 40].

них есть вполне конкретный и содержательный аспект: отсылка к международному праву. Если исходить из примата международного права, проблема основной нормы смещается с национального уровня на международный, а единственная норма, которая не создается путем легальной процедуры, но предполагается юридическим мышлением, это именно норма международного права⁷²⁾.

Однако гораздо более интересным и важным является другой аспект концепции Кельзена. Из рассуждений о том, что всякое право определяет порядок человеческого поведения, вытекает, между прочим, что международное право *прямо* касается каждого человека. Конечно, у него есть своя специфика. Полнота правовой нормы имеет место тогда, когда указано не только должное или запрещенное, но также и то, кто именно должен это должное исполнять. Международные нормы в этом смысле неполны, они не указывают, кто именно должен совершать действия, которые обязательны для государства. Иначе говоря, с точки зрения международного права возможно, что правильное, правомерное деяние будет совершено не тем, кто в самом государстве считается олицетворением государства, тем, кто правомочен действовать от его имени. А чтобы индивиды могли иметь международные права, должен быть международный суд [109]. Несмотря на «чистоту» и формализм своей концепции, Кельзен недвусмысленно выступает за международные организации, без которых идея международного права окажется бессмысленной. В сборнике работ «Мир через право» [112] он доказывает, что поскольку создание всемирного государства, наиболее надежно гарантирующего право, вряд ли возможно, значит, нужны более мягкие формы, возможность которых предусматривается, казалось бы, давно отвергнутой теорией общественного договора. Ведь государств куда меньше, чем людей, из которых состоят сами государства, а значит, и договориться им легче. Нужно отказаться от войны как метода решения споров, нужно включить в такую организацию всех, как победителей, так и побежденных⁷³⁾, нужен непременно международный суд. Таким образом, вырисовываются контуры юридической идеологии будущей ООН, и недаром Кельзен написал первый и один из самых подробных комментариев к ее уставу. Разумеется, Кельзен понимал, что и международный суд без исполнительных органов окажется бессильным. Поэтому он считал неизбежным и появление международных полицейских сил. Вообще эволюция права, как представлялось ему, идет в сторону централизации, в том числе и в области международного права, а значит, по сути, все-таки к мировому государству. Однако Кельзен не предлагает сделать этот шаг, он пишет, что даже учреждение международных полицейских сил натолкнется на сопротивление государств-участников, а потому делает

⁷²⁾ См.: [109].

⁷³⁾ Вторая мировая война еще не окончена, но уже ясно, к чему идет дело, и Кельзен не хочет повторения ошибок Версаля.

упор на организации международного суда, именно суд должен завоевать общее доверие, именно он может превратиться в главного международного законодателя.

Всеобщий, глобальный характер международного права — это именно то, что не устраивало Шмитта с самого начала и что вызывало его беспокойство в последние десятилетия творчества. Главным сочинением, подводящим, как он сам писал, итогу многолетней работы (а на деле оказавшимся началом растянувшей еще на долгий срок, хотя и менее интенсивной, чем прежде, исследовательской и публикационной активности) стала книга о «Номосе земли» [113]. Рассмотрим некоторые ее положения. Главным отличием исследований Шмитта от работ других юристов, которые мы рассматривали в данном обзоре, является внимание к вопросу пространства. Пространство для Шмитта — пространство закона. Опуская более тонкие, требующие философского анализа, моменты, относящиеся к таким категориям, как «земля», «море», «номос», перейдем к более непосредственно связанным с нашим обзором тезисам.

Закон действует *где-то*; это может показаться совершенно самоочевидным, но не так просто. Дело в том, что другие авторы, говоря о суверенитете государства, о суверенных политических единицах, конечно имеют в виду не какие-то идеальные, но вполне реальные государства, то есть также и границы, которые пролегают в пространстве. Не обязательно это оговаривать, но есть и совсем внятные отсылки к политико-географической реальности государства. Когда Макс Вебер пишет, что область, внутри которой действует монополия на легитимное физическое насилие, включается в признак государства, он имеет в виду географическое пространство, пространственно определенную область. Точно так же, когда он говорит, что у Германии есть соседи — столь же сильные, мощные государства, как и сама Германия, он имеет в виду территориальное соседство или, в других случаях, территориальную удалённость. Дело, таким образом, не в территориальности государства как таковой. Тот же Вебер, да и не он один, догматически ограничен понятием государства, для него фокусом рассуждений является государство, территории, которые его интересуют, суть территории, которые близки удалены от Германии, но у него нет понятия, нет идеи более широкого пространства. Мы еще покажем ниже, какое значение это имеет для его основных категорий. Конечно, он знает, что есть такие области, где Германия как мощное государство должна реализовать свое влияние или имеет свои интересы. Но в правовом смысле оно не определено. Единства права и пространства у него нет. Разумеется, Шмитта также интересует прежде всего Германия, его интересуют благополучие Германии, её возможности, шансы оказывать влияние в определённом регионе. Он точно так же, как и Вебер, и, возможно, в более агрессивном ключе рассуждает о тех зонах, где Германия хотела бы распоряжаться, куда не вторгались бы другие страны.

Именно так можно понимать его самую сомнительную в политическом и идеологическом смысле теоретическую работу о порядке больших пространств [114]. В понимании Шмитта, есть не только государства, но и огромные империи. Зоны действия таких империй определяются иначе, чем у суверенных государств; в некотором смысле они определяются как то пространство, на котором империя (Шмитт использует слово «рейх» — «Reich» — устанавливает порядок. Однако это не просто навязанный, насильственно внедренный порядок, каким, по Веберу, является порядок государства. Это именно правовой порядок. Право же определяет именно тем, что оно соотносено с землей, с первоначальными делениями, которые Шмитт называет *Landnahme* — взятие или захват земли.

Конечно, если учесть, что брошюра вышла в 1940 г., она в первую очередь может быть воспринята как обоснование немецкой агрессии. Возможно, для этого есть достаточные биографические основания, хотя Шмитт впоследствии это отрицал. Однако вопрос о пространственном порядке остается ключевым, независимо от политической окраски, и то упорство, с каким Шмитт отстаивал свою позицию уже после войны, показывает, что здесь были далеко не одни только соображения актуальной политики. Уже *после* образования ООН, то есть тогда, когда была формально подведена черта под историей, по меньшей мере, если не Второй, то Первой мировой войны, установлен новый мировой порядок, — и одновременно с Кельзеном, который пишет огромный комментарий к Уставу ООН, — Шмитт возвращается к истории Версальского мира, как одному из важнейших исторических эпизодов.

«Женевская лига [т.е. Лига Наций] уже потому не могла представлять универсальный мировой порядок, что ее членами не были две современные пространственные державы, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Но в том, что касается формально охватываемого Лигой пространства, то здесь фундаментальное противоречие состояло в том, что две ведущие европейские державы этой новой системы совершенно по-разному представляли себе *status quo* Европы и всей Земли. Их понятия *status quo* не только не согласовывались друг с другом, но даже противоречили друг другу и взаимно друг друга отрицали; эти противоречия были столь радикальными, что в действительности никак не гарантировано было даже реальное положение, сложившееся к 1919 году, и новые государственные границы в Европе. Вследствие этого Женевский пакт не содержал никаких действительных, даже временных гарантий владения» [113, С. 337–338]. Иначе говоря, по итогам Первой мировой войны порядок сложился как чисто фактический, то есть получился таким, каким получился в результате победы союзников над Германией, которая и была объявлена агрессором. Но что значит объявить агрессором и что значит поставить

целью предотвращение в будущем любых войн, что, как известно, *не* получилось у Лиги Наций и тем не менее было поставлено целью создания ООН?

Объявление агрессором — это обвинение в некотором неправомерном действии, в нарушении права. Состоит ли нарушение права в *ведении* войны? Разумеется, нет, потому что конвенции, цитированные нами выше, и достаточно единодушное мнение юристов-международников той поры касались как раз *нормальности войны*. Война нежелательна, ее лучше всего избежать, но если уж не удалось, то следует вести ее по правилам, соблюдая права как противника, так и гражданского населения. Кто в такой системе отсчета является агрессором? — Нельзя сказать, что это всегда тот, кто первым напал, потому что иногда нападение требуется для защиты, но если так, то объявление одной из сторон агрессором — это отрицание старого европейского понятия справедливой войны как такой, у которой есть своя юридически релевантная причина, *justa causa belli*. Агрессор как преступник — это превращение в международно-правового понятия в уголовное. Между тем, появление понятия справедливой войны и справедливой причины для войны было, по Шмитту, выдающимся достижением именно европейского публичного права, возникшего на руинах *Res Publica Christiana*, то есть с постепенным разрушением, размыванием большого пространственно-правового порядка, о котором он говорит как о «*Einheit von Ordnung und Ortung*», единстве порядка и локализации. Когда возникли суверенные государства с их внятным различием внешнего и внутреннего и понятием суверенитета, этот порядок был бы полностью разрушен, если бы не открытие Америки и завоевание Нового Света. Европейский порядок и европейское право имели внятную локализацию, потому что была также совершенно иная территория, иная земля, было еще и море, на котором не действовало континентальное право Европы. Именно поэтому можно было огородить международно-правовое пространство, не превращая его в государство государств, и поддерживая порядок, помимо принимаемых соглашений и признания правил, многочисленными связями правящих *поверх границ*. Одно из важнейших достижений этого времени — различие врага и преступника. — Опуская длинную историю размывания этого порядка, можно констатировать, что с попытками утвердить глобальный порядок и глобальное, не привязанное к территориям право, это достижение было утеряно. Победители объявляют поверженного врага агрессором, агрессора — преступником, а война из нормированной, оберегаемой правом превращается в гражданскую, в которой нет ни права государственного, ибо государство разрушено, ни права народов, потому что некому следить за его исполнением и нет территории, на которой оно бы действовало. Это значит, что в будущем войны не только не исчезнут, но станут гораздо более бесчеловечными.

Политико-юридическая концептуализация пространства у Шмитта долгое время казалась скорее экзотическим предприятием, несмотря на его известность. Однако в последние четверть века интерес к этой стороне его творчества растет. Так, значительное влияние приобрела концепция испанского юриста Альваро Д'Орса, на протяжении полувека дискутировавшего со Шмиттом⁷⁴⁾. Вместо привычной всем «геополитики» (Шмитт не злоупотреблял этим термином, но он иногда напрашивается при чтении его сочинений) д'Орс предлагает «геодиеретику», в которой речь должна идти о справедливом «упорядочении владения землей». Здесь важен именно персональный аспект, личные предпочтения, личное владение. Д'Орс был профессором римского права и предлагал вернуться к некоторым его понятиям. Более молодой современный юрист Рафаэль Доминго, в своих исследованиях международного права отчасти опирается на д'Орса и предлагает отказаться от старой, восходящей к Гоббсу и Ваттелю традиции⁷⁵⁾. Везде, где у Ваттеля речь шла о государствах, он предлагает вернуться к людям, к *лицам* в старом римском понимании. Попытки связать пространство с правом, минуя государство, то есть создать новый контекст глобальной международной, достигли своего пика в начале 2000-х гг. Будут ли они иметь перспективу в настоящее время, при сильно изменившейся политической обстановке в мире, нам еще предстоит увидеть.

⁷⁴⁾ См.: [115].

⁷⁵⁾ См.: [116].

6 Революция и реакция. Социологическое значение диктатуры

6.1 Время, скорость и направление реакции: темпоральность в отсутствие прогресса

Понятие реакции в политическом языке привычно связывают с понятием революции. Вслед за революцией, а особенно — за не удавшейся, остановившейся, опрокинутой революцией — наступает реакция. Пока она продолжается, можно говорить о времени реакции, которая продолжается до следующей революции или хотя бы до той поры, пока революционное движение не примет снова то же направление, пусть и в менее радикальных формах. Но понятие реакции, по меньшей мере, двусмысленно в политическом языке, куда оно, подобно понятию революции, пришло из философских трактатов о природе. «Реакция» — это сначала *ответ*, а уже потом *радикальное противодействие*, подобно тому как «революция» — это сначала *переворот*, а уже потом *радикальное изменение* форм правления и строя всей жизни.

Поначалу реакция понималась как изменение состояния того, что испытало на себе действие чего-то, но не как ответное действие. «Начиная со Средневековья, эта пара [«действие» и «реакция»] пронизывает физические трактаты. Затем наши термины поступают на вооруженный уравнениями корабль геометров. Они ходят под флагом механицизма, после чего вновь напоминают о себе в числе преданных слуг виталистического направления» [117, С. 8]⁷⁶⁾. Только в натуральной философии Ньютона говорится об акции и реакции как ответном действии, и лишь после него Монтескье переносит понятие реакции на политическую жизнь. В первой главе пятой книги «О духе законов», Монтескье пишет: «C'est ainsi que, dans les mouvements physiques, l'action est toujours suivie d'une réaction» («Подобно физическим движениям, здесь за действием следует противодействие»). Однако, широко используя понятие революции в техническом смысле, как синоним радикального изменения, он ничего не говорит в том же роде о реакции. Ни терминологически, ни концептуально рассуждение о действии и противодействии не получает у него развития и остается очень робким перенесением механической модели в политику, впрочем, не без инструментального умысла. В «Рассуждениях о причинах величия и падения римлян» он обосновывает продуктивность республиканского устройства, в котором части государства действуют и противодействуют и тем самым обеспечивают его благополучие. «Il en est comme des parties de cet univers, éternellement liées par l'action des unes et

⁷⁶⁾ Он продолжает: «В политико-историческом словаре слова «действие и реакция» поначалу привлекались в поддержку циклической истории, пишущей «революции» во множественном числе. Но затем, когда история оказалась подчинена цели совершенствования, Революция и Прогресс назначили Реакцию своей противницей: о ней немало говорилось на политических собраниях, в газетах, листовках, в обыденной речи» [76, С. 8].

la réaction des autres» («Здесь [в государстве] дело обстоит так же, как с частями этой вселенной, вечно связываемыми действием одних и реакцией других») ⁷⁷⁾. Несколько преувеличивая значение того, что тем самым сказано у Монтескье, Старобински заключает: «Иными словами, пара «действие и реакция» является повсеместной фактической данностью. И если мы не готовы смириться с этой данностью, то нужно научиться ею пользоваться» [117, С. 308]. Во всяком случае, этот инструментальный подход очень далек от современной идеи восстающего против революции реакционера.

Все изменилось во время Французской революции, пишет Марк Лилла; тогда якобинцы даже ввели новый календарь, чтобы ни один гражданин не спутал прошлое с настоящим. Революция была радикальным началом. Предшествующая история стала означать лишь подготовку к этому великому событию. «The river of time flows in one direction only, they thought; reversing upstream is impossible. During the Jacobin period anyone who resisted the river's flow or displayed insufficient enthusiasm about reaching the destination was labeled a „reactionary“» («Река времени, думали они, течет лишь в одном направлении, и плыть против течения невозможно. В период якобинства всякий, кто стоял против течения, или выражал недостаточный энтузиазм относительно достигнутого, был клеймен как „реакционер“») ⁷⁸⁾. Лишь в XIX в. оказалось, что не все критики революции — реакционеры в точном смысле слова. Впрочем, *кто и на каких основаниях* может определить этот точный смысл, остается неясным. «Reactionaries are not conservatives. This is the first thing to be understood about them. They are, in their way, just as radical as revolutionaries and just as firmly in the grip of historical imaginings» («Реакционеры — не консерваторы. Это первое, что надо себе уяснить по их поводу. Они, по-своему, столь же радикальны, как и революционеры, и столь же крепко держатся за воображаемую историю») [119]. Основательность этого определения не очевидна, но дает, на первый взгляд, хоть какой-то ориентир: «The reactionary mind is a shipwrecked mind. Where others see the river of time flowing as it always has, the reactionary sees the debris of paradise drifting past his eyes» («Реакционный дух претерпевает кораблекрушение. Где другие видят реку времени, текущую, как обычно, реакционер видит обломки рая, проплывающие мимо него» [119]. Постоянные перемены, свойственные современности, вызывают к жизни реакционное мифотворчество даже при отсутствии революций и революционных программ, полное отрицание модерна ⁷⁹⁾.

Это можно иллюстрировать. Возьмем классический пример реакционной риторики, знаменитую речь Доносо Кортеса 4 января 1849 г., известную также как «Речь о диктатуре». Он говорит о реакции несколько раз, не упоминая, правда, ни о каком райском про-

⁷⁷⁾ Ср.: [118, С. 88].

⁷⁸⁾ См.: [119].

⁷⁹⁾ См.: [119].

шлом: «Социальная жизнь, как и жизнь человеческая, состоит из действия и реакции, из прилива и отлива определенных наступающих и сопротивляющихся сил» [120, P. 256]. Эти агрессивные, вторгающиеся извне силы он в социальной жизни, как и в человеческой, уподобляет болезни. Она может быть рассредоточена по всему телу, а может собраться, сконцентрироваться — (в обществе) — в виде организаций, политических объединений, — и тогда для ее отражения нужна концентрированная сила диктатуры. Предлагая теорию диктатуры, которую сам он называет «ясной, блестящей и нерушимой», Доносо Кортес на самом деле выстраивает большую политико-теологическую концепцию, в которой трактовки современного положения дел сопряжены с трактовками богословского взгляда на историю. Бог-законодатель, говорит он, предоставил людям управлять своими делами, но может вмешаться в любой момент⁸⁰⁾ как диктатор, то есть как тот, кто стоит выше всякого им созданного закона. Здесь Доносо делает самый важный и богословски не бесспорный ход. Уж если Бог бывает вынужден прибегнуть к диктаторским средствам, рассуждает он, то не может же партия, желающая править, использовать меньше средств, чем Бог, то есть отказаться от диктатуры. Но для чего? — Для противодействия революции, которая обещала свободу, равенство и братство, но установила вместо того диктатуру, «аристократическую демократию» и «языческое братство». Революцию совершают не голодные и рабы, но сытые и свободные, возбужденные ораторами, и результатом совершающегося движения является не увеличение свободы, но ее гибель. Нет вперед идет человечество, а назад. Существуют лишь два сдерживающих момента: внутренний и внешний, то есть религиозный и политический. Чем больше внутреннего, тем меньше нужды во внешнем. «Итак, одно из двух, или наступит религиозная реакция, или нет». Если поднимется «религиозный термометр», то сам собой «без каких бы то ни было усилий народов, правительств, отдельных людей политический термометр опустится» до умеренной температуры свободы народов⁸¹⁾. Однако, скорее всего, произойдет не это, «оздоровительная религиозная реакция» возможна, но маловероятна, а потому и выбор, который предстоит, это не выбор между диктатурой и свободой (в этом случае любой выбрал бы свободу), но между диктатурой бунта и диктатурой правительства. Здесь надо выбирать последнее как менее тяжкое и позорное. Между диктатурой кинжала (диктатурой террора

⁸⁰⁾ «Algunas veces, directa, clara y explícitamente manifiesta su voluntad soberana, quebrantando esas leyes que él mismo se impuso, y torciendo el curso natural de las cosas» («Иногда прямо, четко и недвусмысленно выражает свою суверенную волю, нарушая те законы, которые сам он установил, и извращая естественный ход вещей») [120, P. 258].

⁸¹⁾ «Pues bien, una de dos: ó la reaccion religiosa viene, ó no: si hay reaccion religiosa, ya vereis, señores, cómo subiendo el térmometro religioso, comienza á bajar natural, espontáneamente, sin esfuerzo ninguno de los pueblos ni de los gobiernos ni de los hombres, el termómetro político hasta señalar el día templado de la libertad de los pueblos» [120, P. 270].

и бунта) и диктатурой сабли (правительства) он выбирает ту, что более благородна, то есть диктатуру сабли⁸²⁾.

В этой картине примечательна, помимо прочего, ее темпоральная структура. Человечество, пишет католический публицист, проходит свой путь, отягощенное первородным грехом, но именно сейчас наступает наиболее тяжелое время, которое, правда, он не решается назвать концом, финальной стадией. Именно под конец, когда восторжествует Антихрист, все человеческие действия уже не помогут, тогда потребуется прямое вмешательство Бога. До этого речь может идти именно о политической активности тех, кто противодействует злу. Это более сложный взгляд, чем может показаться. Если бы речь шла именно о последней битве, на нее можно было бы смотреть из того будущего, которое неизвестно, когда наступит, но время тогда прекратится. Однако в этом случае не только возможность религиозной реакции, но и осмысленность политического вмешательства стоят под вопросом. Если дела человеческие уже проиграны настолько, что ожидается прямое вмешательство Бога, реакционеру не остается ничего, кроме резиньяции. Если он предлагает что-то иное, значит, рассчитывает еще на неопределенно длинную череду битв.

Это можно — вслед за Карлом Шмиттом — сопоставить с рассуждениями другого католика-контрреволюционера: Жозефа де Местра. Что говорит об основании государства и его законов де Местр? Он говорит, что «законодатель подобен Создателю; он не работает постоянно; он творит и затем отдыхает»⁸³⁾. Законодатель, однако, вынужден вмешаться, если что-то в законах портится, и чем больше в его законодательстве сугубо человеческого, тем чаще он вынужден вмешиваться. Отсюда де Местр переходит к критике современного ему (послереволюционного) французского законодательного процесса с его огромной и все нарастающей интенсивностью в создании все новых законов. Нет Законодателя, говорит де Местр, вот отчего столько законов, все короли Франции не создали их такое множество, как три Национальных Ассамблеи, а принятие трех Конституций за пять лет — это и вообще нечто невообразимое. Отсюда выводится и возможность контрреволюции: Бог отдыхает, он не вмешивается, но люди заблуждаются, когда полагают, будто достигают того, чего намеревались достигнуть. Та подлинная, неписанная конституция, выражающая суть предусмотренного Богом устройства их совместной жизни, поменять которую невозможно, определит и легкость возвращения французов к монархии христианству, которое будет пассивно и благожелательно принято большинством. А вот чего действительно нельзя делать, так это медлить, задерживать напрашивающееся изменение

⁸²⁾ См.: [120, P. 274].

⁸³⁾ «Le législateur ressemble au Créateur; il ne travail pas toujours; il enfante, et puis il se repose» [121, P. 104].

куда хуже, чем совершить контрреволюцию [121, Р. 178], ибо нынешнее состояние чревато гражданской войной [121, Р. 181]. Именно потому, что монархия естественна, ее возвращение не будет болезненным, а контрреволюция не будет *противореволюцией*, а будет *противоположностью революции* [121, Р. 210]⁸⁴⁾.

Здесь та же самая темпоральная структура, только проявленная более внятно. Реакция ожидается и призывается *как уже завершенная*, нам предлагается посмотреть на нее из более отдаленной перспективы, то есть того будущего, для которого она является уже прошлым. Аргумент, в общем, выглядит так: есть некий установленный Богом порядок, уклонение от него и последующая реакция для восстановления порядка, которая задерживается *Провидением* только для того, чтобы тем более радикальным было наказание уклонившихся от него революционеров. Альберт Хиршман использовал «Рассуждения» де Местра для иллюстрации «тезиса о превратности» («perversity thesis») как первого в развитии реакционной риторики и акцентировал следующий его аргумент: поскольку люди добиваются прямо противоположного по сравнению с тем, чего хотели, революционеры, желая разрушить монархию и вселенское христианство, добьются восстановления и укрепления того и другого. Хиршману это напоминает установки родителей, которые не запрещают, а поощряют неправильное поведение детей, чтобы те скорее столкнулись с последствиями своих действий. Но результат таких воспитательных усилий часто оказывается не столь уж блестящим, заключает он⁸⁵⁾.

Хиршман переводит разговор о реакции в рассуждение о действии, и это весьма важно. Именно действие, которое рассматривается со стороны его намерения и его результата, является ключевым понятием для более абстрактной, но и более продуктивной постановки вопроса, который необходимо оторвать от обстоятельств, от исторического контекста, чтобы увидеть существо дела. Когда реакцию связывают с революциями, а революции с прогрессом, идея противонаправленного движения остается очень ограниченной, потому что в лучшем случае в нее заложено, как писали про радикальный консерватизм 30-х гг. в Германии, *restitutio ad integrum*, восстановление первоначального, неповрежденного состояния. *Restitutio ad integrum* против *novus ordo saeculorum* (нового порядка) — это, безусловно, реакционная идея, но она питается мыслью о том, что сам реакционер знает направление предстоящего движения: все движется туда же, где уже было однажды. Однако если новый порядок не устанавливается, если его не планируют установить? Есть ли тогда место для реакции? — Лилла говорит, что современный реакционер реагирует на общее движение постоянно обновляющегося модерна. Вопрос лишь в том,

⁸⁴⁾ «Ne sera point la révolution contraire mais le contraire de la révolution».

⁸⁵⁾ См.: [122, Р. 17–19].

есть ли ему что восстанавливать, как определяется реакционность той или иной идеи или движения, если они противостоят не конкретно новому, а именно постоянному обновлению?

Чтение старых реакционеров в этом отношении может быть поучительным. Что остается, если убрать из их рассуждений революции, веру в божественный порядок и предусмотрительное проведение? Остается определенное понимание действий. Реакция видит действие, повторим еще раз, в горизонте свершившегося события с ясными последствиями. Противодействие наступает, как говорят феноменологи, в модусе точного будущего времени. Реакция претендует на точность, на понимание ограниченности горизонта планирования действий ее противниками, но у нее нет собственного горизонта планирования, она не имеет руководящей идеи и зависит от чужой повестки. С исчезновением представлений об истории как однонаправленном и захватывающем всех людей движении реакция превращается в то, чем она была изначально: в ответ на действие, с которым она чередуется на авансцене социальной жизни, но с одним важным дополнением. Это не столько восстанавливающий ответ, сколько действие из точного будущего (когда роковые, губительные последствия действия уже дадут о себе знать) *уже сейчас*. Таким образом, направление реакции может быть каким угодно, все зависит от того, реакцией на что она становится. Скорость реакции является одним из важнейших факторов: действие должно оформиться, но еще не исчерпаться, чтобы на него возникла реакция. Возможность обратиться при этом к ресурсу «идеального прошлого», конечно, остается, но конструируется оно *ad hoc* и не остается неизменным. Приложение этой схемы к конкретным событиям остается под вопросом.

6.2 Социологический смысл диктатуры. Суверенность спонтанного порядка

Октябрьская революция была одной из самых значительных в ряду революций, изменивших жизнь многих стран около столетия назад. В России за несколько лет сменился не только политический порядок, но и господствующий способ описания социальной жизни. Притязания нового языка на исключительную достоверность сопровождалась притязаниями на особого рода научность, и даже в ретроспективе его сторонники и его противники попадают в ловушку, продолжая поддерживать или критиковать эти описания как более или менее достоверные с точки зрения науки. Между тем, это далеко не единственная и не всегда самая продуктивная постановка вопроса. Язык описания революции можно рассмотреть с точки зрения политической философии, точнее, в контексте, по меньшей мере, одной из ее традиций, сложившейся в Новое время.

Политико-философские труды, актуальные для своей эпохи, пережив ее, обретают иное значение для последующих поколений. Правда, память об их первоначальной рецепции, политическая репутация авторов выдающихся сочинений долго препятствует таким изменениям. То, что должно было потерять злободневность, десятилетиями, а то и дольше, трактуется под прямым или косвенным влиянием первоначально сложившихся мнений. Так случилось с Макиавелли, с Гоббсом и другими политическими философами. Их долго не хотели изучать всерьез⁸⁶⁾, однако после полного или частичного забвения, недобросовестного цитирования, череды сомнительных попыток сообщить старым авторам новую актуальность произошла *стерилизация*, частичное обеззараживание (и, конечно, лишение продуктивности!) рискованной мысли через более холодное, бесстрастное понимание их рассуждений.

В значительных политико-философских текстах обнаруживается универсальное содержание. То и дело становясь боевым оружием новых исторических сил, они, по крайней мере, в некоторой части образуют длящийся и автономный универсум аргументов. В этой вселенной преемственность, переклички и споры между авторами выглядят по-другому, чем в политической истории. Это не новый, не единственный и далеко не самый популярный в наши дни способ чтения работ, опознаваемых как политико-философские⁸⁷⁾. Такое прочтение оправдано лишь настолько, насколько его результат может заинтересовать читателя здесь и сейчас.

Именно исходя из этих общих соображений, мы предлагаем здесь политико-философское сопоставление сочинений двух авторов, по-своему заслуженно известных, но все еще слишком актуальных, чтобы «репутационные издержки» в указанном выше смысле не могли стать препятствием для их понимания и встраивания в большую традицию. Речь ниже пойдет по преимуществу о книге В. И. Ленина «Государство и революция» и связанных с нею сочинениях и книге К. Шмитта «Диктатура». Они вышли из печати почти одновременно (в 1918 г. и 1921 г. соответственно) и, каждая по-своему, отразили духовную ситуацию эпохи и внесли вклад в ее формирование. Сравнения такого рода напрашиваются, хотя до сих пор их меньше, чем можно было бы ожидать⁸⁸⁾. Шмитт не

⁸⁶⁾ Ср. знаменитое свидетельство Луи Альтюссера, правда, полувековой давности: «...Лишь недавно несколько французских университетских философов принялись изучать величайших теоретиков политической философии — Макиавелли, Спинозу, Гоббса, Гроция, Локка и даже Руссо, «нашего» Руссо» [123, С. 17].

⁸⁷⁾ Надо лишь на всякий случай оговориться, что он только самым поверхностным образом может напоминать знаменитые в своем роде рассуждения Лео Штрауса [124, С. 13, 16].

⁸⁸⁾ См., например: [125]. Фольрат называл Ленина «последним политическим метафизиком» [125, S. 9] и связывал его «понятие политического» с проблематикой воли, но, к сожалению, писал свою работу о Ленине явно до того, как штудировал Шмитта. См. также: [126, S. 182]. Фр. Джеймисон ставит Ленина в ряд таких политических философов, как Гоббс, Локк, Руссо, Шмитт и Ролз, но меньше заинтересован в исследовании традиционных вопросов политической философии, чем вопроса о партии (см.: [127, P. 62]).

цитировал Ленина и упоминал его в своем большом труде всего три раза. Он не читал по-русски; правда, многие материалы важной полемики социалистов о демократии и диктатуре были доступны на немецком. Ленин не заметил книги Шмитта, автора в те годы сравнительно менее важного. Их перекличка происходит на более глубоком уровне, чем простое чтение и обмен репликами между современниками, которых можно назвать политическими антиподами. Ленин — теоретик и практик революции, восстанавливающий аргументы основателей марксизма. Шмитт много читает революционеров, но увлекается контрреволюционной традицией начала XIX в.⁸⁹⁾ Перекличка Ленина и Шмитта может быть представлена как исследование одного из центральных вопросов политической философии: что происходит, так сказать, на нулевом уровне социального порядка, как получается, что он, рождаясь словно бы из ничего, обретает вид законченный, полноценный? Рассмотрим этот вопрос вкратце на важном историческом примере.

Пока политическая жизнь продолжается рутинным образом, любые изменения, происходящие в ней, сколь бы значительными они ни были, отсылают к уже существующему порядку, к тому, что «всегда уже было», если воспользоваться известной формулой М. Вебера. Революция означает резкий разрыв с предшествующим порядком, а диктатура — такую форму правления, которая предполагает отказ от любых ограничений со стороны закона или традиции. Вопрос о том, как возможен социальный порядок обостряется, когда старый порядок не исчезает в одночасье, когда его элементы сохраняются при новом порядке. Так начинается гражданская война. Насилие становится неизбежным и прекращается лишь насилием. Чтобы войны не было, необходимо навязать порядок тем, кто сопротивляется. Сопротивление, даже если оно на время прекратится, остается все еще возможным, если порядок внутренне не принят, если готовность воевать против него при удобном случае остается. Поэтому приверженность старому порядку, неприятие нового порядка — это ключевая проблема учреждения порядка, то есть революции и гражданской войны.

Эти простые, но очень важные положения были впервые внятно изложены Гоббсом в связи с концепцией общественного договора, которую долго понимали превратно, так, будто некогда в истории было безгосударственное состояние и люди вели войну всех против всех, которую смогли преодолеть только посредством договора. Но Гоббс не придумывал фантастических историй. Он говорил о необходимости утверждения старого или учреждения нового порядка в эпоху революции. Старый политический порядок обрушился у него на глазах, сомнения в доброкачественности нового могли угрожать миру. Выход

⁸⁹⁾ См.: [128, С. 48–69].

Гоббс нашел в трактовке суверенитета. Его теория учреждения суверенитета есть по сути теория порядка, чреватого революцией и необходимостью учреждения нового порядка.

Только неограниченная власть, считал Гоббс, может удержать людей вместе как граждан, если они признают себя ее подданными. Признание себя подданными означает совместное согласие передать право на убийство с целью самозащиты суверену. Суверен — высшее, реальное единство. Без него единодушие граждан не обеспечит мира и сплочения, потому что единодушие является преходящим, доверие непрочным, желание преимуществ вечным. Нужно видеть единство и устанавливать его как видимое! Позже Руссо скажет, что непосредственно видимым единство большого количества граждан (общая воля народа-суверена) быть не может; чтобы его опознать, нужна работа воображения, а персональная репрезентация суверенного единства является узурпацией, бунт против которой оправдан.

Это именно те проблемы, которые не исчезают из политической философии на протяжении веков. Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо так или иначе говорят о верховной власти, которая образуется через соединение и подчинение индивидуальных волей. Политическое образование становится единством, произведенным из множества, которое через это суверенное единство обращается на себя самое и против своих элементов, навязывая им единую волю так, словно бы это и была концентрированная воля самого множества, опознаваемая каждым гражданином как оправданная правом⁹⁰). Поскольку высшая власть есть соединенная мощь всех, как говорил Спиноза, она по сути является демократической. Поскольку в ней нет места ни ссылкам на диктат вечного закона, ни на исторически сложившийся авторитет, она в большинстве случаев сама себе закон, который сама же и может отменять, т.е. выше своих же проявлений в виде отдельных законов и отдельных исполнителей. Концентрированной воле множества нет преград в виде правовых актов, институтов, обычаев. Она способна все создать и все отменить. Активность общей воли обращается перманентной диктатурой и перманентной революцией⁹¹). Руссо — лишь один из самых радикальных представителей всей той традиции, о которой идет речь; от Руссо тянется нить к самоописаниям Французской революции, а отсюда — к основателям марксизма и риторике большевиков.

Вопрос о том, означает ли революция переход к демократии или диктатуре и есть ли вообще смысл в противопоставлении демократии и диктатуры, широко обсуждался социалистами как перед русской революцией, так и в ходе борьбы большевиков за удержание советской власти. Ленин предпринял детальное исследование текстов Маркса и Эн-

⁹⁰) «Государство находится в состоянии постоянного само-конституирования», справедливо замечает А. В. Магун [129, С. 151].

⁹¹) См.: [130, S. 137].

гельса, чтобы придать своим рассуждениям о необходимости диктатуры вид (в рамках марксистского учения) догматически безупречный. В результате появилась книга «Государство и революция». Карл Каутский, один из самых авторитетных социалистов, написал несколько работ против диктатуры, в том числе с критикой Ленина⁹²⁾, который резко отвечал ему в 1918–1920 гг. В полемике против Каутского выступили также другие известные деятели революции⁹³⁾. Каутский считал, что единственно допустимым является демократическое насилие большинства над меньшинством, так что при большинстве рабочих и меньшинстве капиталистов переход к социализму совершится именно демократически. То насилие, которое уже после революции совершается не только над побежденными классами, но и над самими рабочими, принуждаемыми к дисциплине, он рассматривал как не оправданный теорией террор. Троцкий отвечает ему, что реальному положению дел Каутский противопоставляет «метафизику демократии», «рассуждения о должном». При капитализме все средства господства сосредоточены у буржуазии, так что формальный механизм демократии не срабатывает, «задача революции, как и войны, — сломить волю врага» [134, С. 60], а диктатура советов только и стала возможной благодаря диктатуре партии [134, С. 120].

Доказательство того, что «буржуазная демократия» — это демократия для богатого меньшинства, что Маркс и Энгельс усматривали перспективы смены общественного строя именно в диктатуре пролетариата, — центральный пункт аргументов Ленина в «Государстве и революции». Правда, их с самого начала отличает двусмысленность. «Диктатура пролетариата, т. е. организация авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления угнетателей, не может дать просто только расширения демократии. Вместе с громадным расширением демократизма, впервые становящегося демократизмом для бедных, демократизмом для народа, а не демократизмом для богатеньких, диктатура пролетариата дает ряд изъятий из свободы по отношению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам. Их мы должны подавить, чтобы освободить человечество от наемного рабства, их сопротивление надо сломить силой, — ясно, что там, где есть подавление, есть насилие, нет свободы, нет демократии» [135, С. 88–89]. Народ здесь — бедные и многие (это лишь один из традиционных способов трактовки народа при демократии). Но будущий господствующий класс — *авангард* народа, то есть меньшинство. Демократия после революции возрастает, но при этом демократии *нет* именно там, где она *есть*, то есть ее нет в насилии многих над немногими, народа над его бывшими угнетателями и тем более — в насилии нового меньшинства над большинством. Ленин подчеркивает национальный (в рам-

⁹²⁾ См.: [131].

⁹³⁾ См.: [132], [133].

ках одной страны с централизованным управлением), а не всемирный характер революции⁹⁴⁾. Демократия, исчезающая в насилии меньшей части большинства над бывшим властным меньшинством, оборачивается диктатурой, но как понимать диктатуру? Достаточно ли сказать, что возникла новая нормальность, изменились лишь те, кто определяет норму? Ленин говорит, что «социалисты требуют строжайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления, но только контроль этот должен начаться с экспроприации капиталистов, с контроля рабочих за капиталистами и проводиться не государством чиновников, а государством вооруженных рабочих» [135, С. 97]. Чрезвычайные меры должны привести к новой норме, однако нормой должны стать рутинизированные чрезвычайные меры. Порядок, в том числе среди освобожденных от буржуазии рабочих, не образуется сам собой, он навязывается. С этим Ленин связывает парадоксальное сохранение буржуазного права и государства без буржуазии на первом этапе строительства коммунизма. Государство — это принуждение, принуждение *сопротивляющихся* — это диктатура, а вопрос о большинстве и меньшинстве он объявляет второстепенным.

В рассуждении о «государстве вооруженных рабочих» не одна логика, но, по меньшей мере, две. Если считать государство отделенным от большинства аппаратом принуждения и подавления, революция означает овладение этим аппаратом и применением его против бывших господ. Если считать, что чиновники и полицейские перестают быть особой кастой и лишь немногие профессионалы остаются на службе у вооруженного народа, тогда отдельного государства нет. Это не отменяет вопроса о том, *кто* реально принимает решения, *кто* не ограничен чужой силой, *кто* имеет право на использование насилия при нормировании труда и потребления. После революции Ленин говорит: диктатура — это война, а война требует единства воли [136, С. 6], то есть персональных полномочий, личных решений. Революция не решила гоббсовский вопрос. Единству воли наверху не отвечает единодушие внизу, война идет против большинства, но не единого, а диссоциированного, пронизанного внутренней враждебностью. Цель меньшинства (авангарда и его вождей) — «создание дисциплины среди трудящихся, организация контроля за мерой труда, за интенсивностью труда, введение специальных промышленных судов для установления меры труда, для привлечения к ответственности всякого злостного нарушителя этой меры, для систематического воздействия на большинство в целях повышения этой меры» [137, С. 146]. На поверхности — собственно, дальше и не идут критики — это выглядит как террор против народа от имени народа. Что же нам дает именование террора

⁹⁴⁾ Он специально выделяет рассуждения Маркса об организации единства нации [135, С. 52–54].

диктатурой? Здесь поможет чтение Карла Шмитта. Посмотрим на те же аргументы через его оптику.

Шмитт начинает свою большую книгу с дискуссий вокруг советской диктатуры. «Буржуазная политическая литература», говорит он, до 1917 г. «игнорировала понятие диктатуры пролетариата» [138, С. 11]. Диктатура понималась как власть одного человека, который опирается на так или иначе обеспеченное широкое согласие народа и развитый аппарат управления, необходимый в современном государстве. Но если речь идет о *согласии народа*, то главным становится демократическое упразднение демократии, а тем самым стирается важное различие между особым рода диктатурой, которую он называет «комиссарской», и цезаризмом. Диктатура в этом контексте означает отказ от парламентской демократии, пренебрежение ее формальными основаниями. Смысл дискуссии между социалистами Шмитт понимает так: Каутский пытается доказать, что диктатура — это всегда господство одного человека, а значит, диктатура пролетариата как класса невозможна. Но это доказательство «терминологическое». «Именно для марксизма, для которого инициатором всех действительных политических событий является не отдельный человек, а тот или иной класс, нетрудно было сделать пролетариат, как коллективное целое, субъектом действия, а потому и рассматривать в качестве субъекта диктатуры» [138, С. 13]. Каутский ведет дело к тому, что диктатура — господство меньшинства над большинством, но ответы Ленина, Троцкого и Радека показывают, что дело не в этом, а в конкретной исторической ситуации, при которой диктатура как *средство перехода* к новому строю может использоваться и при демократическом большинстве. Диктатура — это исключительное положение, а исключение определяется в соответствии с тем, что понимается как правило или норма. Если норма понимается как политический идеал, тогда порядки в буржуазном государстве — это диктатура, хотя и скрытая под видом правовой нормальности (кажется, в этом месте на Шмитта более всего повлияло чтение Радека⁹⁵), а переход к коммунизму требует диктатуры для устранения того, что задерживает правильный, органический ход вещей. Таким образом, с точки зрения коммунистов, буржуазия насильственно задерживает развитие к коммунизму, коммунисты же насильственно устраняют это положение дел. Диктатура оказывается в первую очередь *средством*, техникой достижения цели. Техническое понимание диктатуры аполитично, сколь бы ни были политическими цели, и в этом смысле неудачно.

Шмитт различает два вида диктатуры. При «комиссарской», которой и соответствует трактовка диктатуры как техники, «суверен может в любой момент отобрать доверенную власть и вмешаться в действия своего уполномоченного» [138, С. 44]. Управлен-

⁹⁵ См.: [132, S. 1–3].

цы даже с диктаторскими полномочиями не становятся суверенными властителями. Однако идея диктатуры советов, которую обосновывает Ленин, нацелена на другой вид диктатуры, — «суверенный», хотя сам Ленин далек от такой терминологии. Различия двух видов диктатуры Шмитт объясняет, исследуя «Общественный договор» Руссо. «Как только возникает связь, позволяющая наделить законодателя диктаторской властью, создать законодателя-диктатора и издающего конституцию диктатора-законодателя, комиссарская диктатура превращается в суверенную» [138, С. 150]. При суверенной диктатуре нет различия, нет дистанции между высшей властью и ее порученцами, как нет и различия между особой сферой права и вводимым при необходимости мерами. Чрезвычайность становится нормальной.

Мы помним, что Ленин говорил о сохранении элементов буржуазного государства и права при социализме. Его рассуждения о полномочиях взявшего власть «народа» и об использовании судов «для систематического воздействия на большинство» демонстрируют (наряду со множеством других высказываний) *практическую чувствительность* к теоретически сложному вопросу. Право он рассматривает как (временно) необходимый инструмент господства, но что это значит? Ближайшим образом то, что все чрезвычайное должно после революции получить вид права, а не просто вид неприкрытого произвола. Однако это старое буржуазное право не производится новой властью, она застаёт его готовым и, в конечном счете, не может принять, как не может принять унаследованных от предыдущей эпохи законодателей и учредителей. Совпадение законодателя и исполнителя в устройстве советов означает самостоятельное производство права, но эта власть не может создать себе границы, которые сама бы не переступала. «Народные комиссары» только притворяются порученцами, имитируют «уполномоченных народа».

Шмитт не видит здесь ничего интересного: «Можно заметить, что, с точки зрения всеобщего учения о государстве, диктатура отождествляющего себя с народом пролетариата как переход к такому экономическому состоянию, когда государство «отмирает», подразумевает понятие суверенной диктатуры, составлявшее некогда фундамент теории и практики Национального конвента» [138, С. 227]. Он ошибается. Суверенная диктатура в том виде, какой она получает в результате Октябрьской революции, предполагает производство новых различий внутри народного большинства и дисциплинирование этого большинства посредством бесконечно, *ad hoc* производимых законов, в которых ему всякий раз предлагается опознать свою собственную волю. Единство воли правящих всякий раз предстает конститутивным элементом (эффективной фикцией) воли большинства, побеждающего врагов, прорывающего паутину легальности, формальностей, ограничений.

Это новое понятие политического, постепенно усваиваемое политической философией.
Оно не исчезнет, пока длится Новое время.

7 Политическая социология и общая социология Макса Вебера

7.1 Политическая история и научная биография

«Духовный труд как профессия»⁹⁶⁾ — амбициозное название серии докладов, которую задумали и организовали лидеры студенческого союза «Freistudentischer Bund» (Союз вольного студенчества). Немецкая молодежь, в том числе студенческая, издавна собиралась в союзы, сыгравшие большую роль в духовной и политической жизни страны. Движение молодежи (Jugendbewegung) на рубеже XIX–XX вв. было значительной силой. Знаменитый издатель и создатель легендарного кружка *Serakreis* в Лейпциге Е. Дидерихс⁹⁷⁾, видный деятель этого движения, в 1917 г. дважды устраивал в замке Лауэнштайн на севере Баварии встречи немецких интеллектуалов, обсуждавших будущее Германии. В них принимали участие и Макс Вебер, и Эрнст Толлер, поэт, драматург и молодежный активист, один из видных деятелей Союза. У Вебера были хорошие, интенсивные, но не лишённые проблем и напряжений отношения со студентами.

Большую роль в приглашении Вебера сыграл видный деятель Союза Иммануэль Бирнбаум, впоследствии влиятельный журналист. Вначале Веберу предложили сделать доклад «Наука как профессия». Он привлек широкое внимание интеллектуалов и произвел глубокое впечатление на слушателей⁹⁸⁾. Доклад о профессии политика Вебер прочитал 28 января 1919 г., то есть спустя более чем год. Пригласить его для чтения также и второго доклада решено было достаточно быстро, тогда как еще два, посвященные искусству и

⁹⁶⁾ «Geistige Arbeit als Beruf». Каждое слово здесь требует специального толкования, ни одно нельзя понять вне контекста эпохи, а самое сложное для нас — «Beruf». Много лет назад П. П. Гайденко предложила учитывать ту трактовку его генезиса в Лютеровском переводе Библии, которую мы находим у Вебера в «Протестантской этике». См.: [139, С. 715]. «Beruf» — это не просто род занятий и даже не профессия в том более узком смысле слова, в каком говорили о врачах и юристах, но именно профессиональное призвание: человек призван Богом к деятельности по овладению миром, а не к бегству от него и не к бездеятельному созерцанию. В переводе П. П. Гайденко первый доклад Вебера «Wissenschaft als Beruf» (выполненный и повлиявший на научное сообщество задолго до указанной публикации) стал называться по-русски «Наука как призвание и профессия». Вслед за ней, переводя доклад о политике, я использовал те же два русских слова для передачи одного немецкого. Этот же перевод принят и в настоящем издании; пусть не безупречный, он устоялся, стал привычным. Тем не менее, часто не только технически, для удобства чтения, но и содержательно более правильно указывать на одно, чаще второе значение. Поэтому в Предисловии, за редкими и необходимыми исключениями, я пишу просто «профессия», хотя вся терминология самого перевода, включая название, осталась такой же, как в предыдущих изданиях.

⁹⁷⁾ См.: [140, С. 327–330].

⁹⁸⁾ По поводу датировок этого первого доклада было много споров, в том числе среди современников, присутствовавших в зале. Я данном случае просто следую издателям Полного собрания, Вольфгангу Моммзену и Вольфгангу Шлюхтеру. Доклад «Wissenschaft als Beruf» состоялся 7 ноября 1917 г. Датировки, приведенные в «Избранных произведениях» Вебера (см. выше), основаны на более ранних изданиях. Они *устарели и не верны*. Вся фактография, относящаяся к организации и публикации докладов Вебера, в моем изложении основана исключительно на материалах Полного собрания как наиболее полных и достоверных и не имеет собственной научной ценности. Моя задача — лишь предварительно ввести читателя в курс дела.

педагогике, вообще не состоялись⁹⁹⁾. Известно, что и переговоры с издательством первоначально строились на том, что все четыре доклада выйдут вместе, но уже в скором времени стало ясно, что рассчитывать надо только на тексты Вебера, которые и были напечатаны отдельными брошюрами в 1919 г. Предварительно организаторы договаривались с Вебером еще летом 1918 г.; впоследствии, уже зимой он хотел отказаться от доклада, и его пришлось уговаривать снова. Настроение у него было неважное. Известно, что Вебер в 1918 г. много занимался политикой, вел консультации, в том числе участвовал в очень важных заседаниях в министерстве внутренних дел по выработке проекта немецкой конституции¹⁰⁰⁾, выступал с речами, агитируя за Немецкую демократическую партию (Deutsche Demokratische Partei). С этой партией был связан и его самый большой политический успех, и самое большое разочарование. В декабре 1918 г. проходило выдвижение по округам кандидатов от партии в национальное собрание, которое должно было принимать конституцию Германии. Вебера поддерживала партийная верхушка, его с энтузиазмом выдвинули на первое место среди прочих кандидатов, обойдя предложенный местной партийной бюрократией порядок номинирования кандидатур, на региональном партийном собрании во Франкфурте. Однако местные партийные деятели путем бюрократических уловок сумели изменить ситуацию, и в скором времени обнаружилось, что продвижение в Национальное собрание для Вебера здесь практически исключено¹⁰¹⁾. Таким образом, 5 января, публикуя свое заявление в связи с отказом от дальнейших попыток выдвижения, Вебер вряд ли был расположен в ближайшее время выступать с речью о призвании политика. Однако и в более широком плане дела в Германии не давали повода для оптимизма.

Чтобы несколько представить себе эту обстановку, вспомним лишь некоторые важные события, вернувшись — от даты его доклада — на несколько месяцев назад. В ноябре 1918 г. в Германии начались политические процессы, которые в ретроспективе называют Ноябрьской революцией. Уже в октябре 1918 г. стало ясно, что война Германией проиграна, 1 ноября началось Кильское восстание моряков, волнения быстро распространились на крупные города, и вскоре был низвергнут баварский король Людвиг III (автономия земель была еще очень велика, и первая республика была провозглашена в Баварии социалистом и пацифистом Куртом Эйснером, к которому Вебер, заметим, относился крайне негативно). Вскоре последовало отречение императора Вильгельма II. Однако по-

⁹⁹⁾ Даже имена предполагавшихся лекторов — весьма почитаемого педагога Георга Кершенштайнера и необыкновенно плодовитого историка искусства и писателя Вильгельма Хаузенштайна — ничего не говорят современному читателю.

¹⁰⁰⁾ Веймарская конституция обязана Веберу рядом важных положений.

¹⁰¹⁾ Подробности этой интриги освещены Вольфгангом Моммзеном в кн.: [141, S. 328ff.]. Моммзен считал, что Вебер мог бы легко получить место и в центральных органах партии, и в Национальном собрании, но колебался, не будучи уверен, что это правильный выбор дальнейшей карьеры. Вместе с тем, произошедшее сначала сильно вдохновило его, а затем выбило из колеи.

лучалось так, что именно возникающая республика будет нести ответственность и за военное поражение и унижительный мир, и разрушение гражданского порядка. Это входило в намерения имперской бюрократии и генералов, и это же вызывало негодование Вебера, считавшего именно их ответственными за многие роковые для страны решения. Революция не переросла в столь же длительную и масштабную гражданскую войну, как в России, но в Германии тем не менее началась тяжелая и часто кровавая борьба. Жертвами ее стали, между прочим, Карл Либкнехт и Роза Люксембург: — руководители лево-социалистического союза «Спартак», основатели коммунистической партии Германии были убиты 15 января 1919 г. членами фрайкора, добровольческой праворадикальной военной организации. Вебер негативно относился к «Спартаку», но бессудные, совершенные «неизвестными» политические убийства были противны самому духу того, что он считал ответственной политикой.

Знаменитая формула *«государство с успехом претендует на монополию легитимного физического насилия»* не случайно рождается у Вебера в это время. В нескольких крупных центрах Германии были сделаны попытки установить власть советов, организованную по образцу революционной России. Центральное правительство пыталось подавить это движение, ответом стали массовые забастовки. Пожалуй, дальше всего дело зашло именно в Баварии. 21 февраля Эйсер был убит правым радикалом графом Арко. 7 апреля была провозглашена республика советов, которой удалось успешно отразить в первые недели своего существования атаки фрайкора, однако уже 3 мая соединенными усилиями армии и фрайкора Мюнхен был взят под контроль центральным правительством.

Вернемся еще раз на несколько месяцев назад. 18 января начинается Версальская мирная конференция, а 28 июня подписан Версальский мирный договор. За месяц до этого Вебер вместе с несколькими почтенными коллегами подписал знаменитый «Меморандум немецких профессоров», в котором оспаривалось стремление победителей представить Германию единственной виновницей войны. Вебер не был согласен со всем строем этого документа, подготовленного немецкими официальными лицами, но эффекта меморандум все равно не имел¹⁰²⁾. Разочарование Вебера, его мрачный настрой это только усилило. Уже вскоре после выступления с речью о политике он окончательно решил посвя-

¹⁰²⁾ Сам он был настроен более жестко, непримиримо и не реалистически по отношению к требованиям союзников; его предложения по документу, сформулированные, кажется, в нарочито неприемлемом для дипломатов тоне, были отвергнуты. Один из лучших современных биографов Вебера Дирк Кэслер вообще считает, что немецкие чиновники совершенно не прислушивались к немецким профессорам и не собирались советоваться с ними, речь шла лишь о довольно циничном использовании их репутаций. Он цитирует, между прочим, очень горькое письмо Вебера Марианне, в котором тот сообщает, что по существу дела никто не задавал ему никаких вопросов. См.: [142, S. 37, 881f.].

тить себя науке и преподаванию. В марте он принял приглашение Мюнхенского университета, а 1 апреля был назначен на должность профессора¹⁰³⁾. С этого времени начиналась уже другая жизнь — сугубо научная, только вот длиться ей оставалось всего год. Правда, и в эту жизнь то и дело врывается политика.

Когда Баварская советская республика успешно отбивалась от фрайкора, ее отрядами руководил упомянутый выше участник встреч в замке Лауэнштайн Эрнст Толлер, немецкий поэт и драматург, глубоко почитавший Вебера (настолько, что переходил из университета в университет, чтобы посещать его лекции). Толлер был среди тех, кто слушал доклад о политике и участвовал в последующей дискуссии с Вебером. Одной из привлекательных для молодежи сторон личности Вебера была его готовность к длительным спорам с теми, кто имел совершенно иной жизненный опыт, статус и политические взгляды, хотя отношения со студенчеством в конце его жизни было у Вебера было непростым и неровным. Когда, после разгрома Баварской советской республики, Толлер был арестован и судим по обвинению в государственной измене, именно свидетельство Вебера о том, что тот вел себя всегда исключительно в согласии с убеждениями, спасло Толлеру жизнь¹⁰⁴⁾. Он вышел на свободу через несколько лет заключения. В некотором роде зеркальный случай произошел в 1920 г., когда суду был предан застреливший Эйснера граф Арко. Ему тоже грозила смертная казнь, но возмущение консервативного студенчества заставило власти отступить. Вебер был не согласен с этим, он называл такое поведение властей, используя старые, непечатные немецкие выражения публично, подлой трусостью. Если в 1919 г. ему приходилось наталкиваться на реакцию несогласия и непонимания со стороны левых и пацифистов, то в 1920 г. к нему все более настороженно относились правые, радикальные круги. Вебер совершенно не симпатизировал Эйснеру, но считал, что Арко лучше быть расстрелянным, лучше погибнуть героем за свои убеждения, нежели влачить жизнь “знаменитости кофеен”. Его расстрел стал бы «могильным камнем на этом карнавале, украшенном гордым именем революции», его жизнь означает, что и Эйснер живет вместе с ним.

Не только для партийной бюрократии (на что указывает Моммзен), но и для многих знакомых Вебера странным было такое непредсказуемое сочетание политического реализма и этического ригоризма в политике. Далекое не столь позитивное отношение, как доклад о науке, вызвал и его доклад о политике. И, конечно, проблема тут была не только

¹⁰³⁾ Эту кафедру до Вебера занимал знаменитый немецкий экономист Луйо Брентано. С ним Вебера сначала связывали дружеские отношения, которые впоследствии по не вполне ясным причинам испортились. Вебер занял кафедру *экономическую*, но в Германии было принято указывать более точно, что станет предметом преподавания профессора. Впервые он потребовал указать среди этих предметов на первом месте «науку о обществе» (Gesellschaftswissenschaft).

¹⁰⁴⁾ Еще раньше Вебер спасал Толлера от тюрьмы в Гейдельберге. См. подробнее: [143, P. 23f.].

в практически-политических оценках и не в личных отношениях. Например, Карл Лёвит, в будущем знаменитый философ, был очень воодушевлен докладом о науке и разочарован докладом о политике. Лишь частично такое недовольство можно списать на характер «презентации». Вебер, сообщают издатели, с самого начала считал, что доклад получится не очень хорошим. Но ведь пришло на него довольно много публики, примерно, около сотни человек, а после выступления еще долгие часы продолжались разговоры со слушателями уже в приватной обстановке, на одной из мюнхенских квартир. Само отношение Вебера к политике, само видение настоящего и будущего, нескрываемая горечь пережитого исторического опыта не могли не сказаться на восприятии речи.

Стенограмма доклада не сохранилась, но судя по всему, он подвергся серьезной доработке для публикации и существенно увеличился в объеме. Вебер многое дописал, и вместе с его добавлениями и уточнениями получился оригинальный письменный текст, а не просто расшифрованная и авторизованная речь. Вебер мог ответственно подойти к выбору каждого слова, каждой формулировки, и это заставляет столь же внимательно вчитываться в его доклад, как мы это делаем с научными трактатами.

7.2 К политической социологии: основные понятия

Вебер обладал огромными познаниями в политической истории, однако в области сравнительного исследования современных партий, находился под влиянием специалистов, таких, как М. Острогорский¹⁰⁵⁾. Устройство партийной машины, характеристики современной плебисцитарной демократии, политическая журналистика — все то, о чем непременно напишет любой исследователь политической социологии Вебера, — лишь отчасти является у него самостоятельных изысканий и, возможно, за сто лет за сто лет потеряло прелесть новизны, и даже информативность. Тем не менее, Вебер остается классиком социологии и крупнейшим политическим мыслителем. Дело не только в том, что одним из первых он зафиксировал устройство партийно-электоральной машины и плебисцитарный цезаризм новых вождей, разделил политиков на тех, кто живет ради политики как таковой, и тех, кто живет за счет политики, и т.п. Все это необходимо знать, конечно, потому что политическая социология Вебера является неотъемлемой частью социологического и политологического образования, однако основательное знакомство с ней имеет более универсальное значение. Это можно увидеть, если вообразить себе окончание «Основных социологических понятий» и начало «Политики как профессии» в качестве своего рода сцепки, места сочленения большого единого текста, который, как я уже сказал выше, с

¹⁰⁵⁾ См., напр.: [144, Р. 192], [145, С. 104].

одинаковым успехом можно читать, начиная и с доклада о политике, и с методической главы.

Чем завершаются «Основные социологические понятия»? В § 17 рассматривается понятие государства, которое трактуется при помощи понятий действия (я предпочитаю переводить «das Handeln» как «действие», подчеркивая тем самым его процессуальный характер) и союза. Завершается же он определением «иерократического союза» и церкви. Понятие действия является первым для этой главы и вообще первым для социологии Вебера, который, мы помним, говорил, что социология должна быть наукой о социальном действии. Таким образом, понятие действия, поскольку оно появляется в последнем параграфе первой главы, смыкает ее начало с завершением, и это завершённое изложение главы приводит читателя к политическому и иерократическому союзам, к государству и к церкви. Внутри «неоконченной» «Социологии», то есть внутри первой части «Хозяйства и общества» в старых изданиях, за главой об основных социологических понятиях следует глава об основных социологических категориях хозяйствования, то есть, говоря в более привычных нам терминах, экономической социологии. Если действие по смыслу ориентировано на «полезность» и ее достижение, оно называется у Вебера «хозяйственно ориентированным». Хозяйственно ориентированное Вебер отличает от собственно хозяйствования, потому что средства для достижения полезностей могут быть насильственными, политическими. Хозяйствование же по сути своей — мирное, оно ориентировано на хозяйственный расчет. «Всякая рациональная политика хозяйственно ориентирована в области средств, и всякая политика может обслуживать хозяйственные цели. Точно так же (хотя теоретически это относится не ко всякому хозяйству) наш современный хозяйственный порядок в нынешних условиях нуждается в том, чтобы распорядительная власть над ресурсами была гарантирована правовым принуждением со стороны государства, т.е. угрозой возможного насилия для сохранения и осуществления гарантий формально «узаконенных» распорядительских прав. Но само хозяйство, находящееся, таким образом, под силовой защитой, не связано с применением насилия» [99, S. 32]. Это важнейший момент. Действование Вебер рассматривает по схеме «цель— средство», причем он прекрасно знает об иерархии целей, так что ближайшая цель может оказаться средством для достижения следующей, более высокой. Поэтому, называя политику средством, а хозяйство целью (если несколько огрубить его высказывания, то получится именно это), Вебер говорит не о частных целях и средствах, не о фрагментах цепочек, в которых, например, нечто полезное просто отнимается, но с тем, чтобы пустить награбленное в экономический оборот. Он говорит о более стратегических вещах, о том, что насилие есть все-таки средство, а полезное — цель, и систематический расчет путей,

ведущих к ней, — это хозяйствование, а не («хозяйственно ориентированный») грабеж. «Прагматика насилия противоречит духу хозяйства» [99, S. 32]. Полезностью Вебер далее объявляет «шансы применения», вещными благами — носители этих шансов, а услугами — то, что обеспечивают люди своими действиями.

Разумеется, это, в свою очередь, может быть лишь частью более обширного рассуждения, потому что трактовка полезного и желание полезного далеко не самоочевидны и различны для разных эпох и культур. Вебер хорошо знает об этом, весь проект «Протестантской этики» вырастает как раз из поисков ответа на вопрос о том, как связать смысл хозяйственного действия с потребностью избежать наибольшего зла, смерти. Что, в принципе, именно хозяйствование могло бы иметь отношение к главной цели, то есть именно в успешном хозяйствовании заключен главный ответ на вопрос о высшем благе, — это именно тот результат, который мог бы удовлетворить Вебера на более раннем этапе его творчества. Однако «Основные социологические понятия», как мы видим, предполагают такой ответ лишь в качестве одного из возможных. Они недаром кончаются не понятием государства, а понятием иерократического союза.

Государство способно силой навязать порядок, при этом основные характеристики порядка не так важны, как средство — легитимное насилие. Насилие означает преодоление сопротивления. Чужая воля должна быть сломлена, но сломлена именно как воля, то есть подчинена, перенаправлена. Те, кто действуют, подчиняясь, в силу дисциплины и признания господства легитимным, не утратили способность к действию, к постановке цели и выбору средств. Но цель они ставят в соответствии с подчинением господствующему, и надежность этого господства (то есть шансы на то, что действующий не изменится, не перестанет подчиняться) называется порядком. Если бы порядок был обеспечен только грубой силой, он мог бы быть нарушен, скажем ответной силой, но он обеспечивается также *верой в легитимность*. Легитимность означает укоренение порядка в чем-то высшем, чем голая фактичность приказа, изменение временного горизонта подчинения по сравнению с тем, который может быть обеспечен грубым превосходством силы. Именно поэтому, подобно тому, как Вебер отделяет хозяйственно ориентированное действие от хозяйственного, он отделяет политически ориентированное действие от политического. Разные союзы (а союз — это способ организации действий) могут пользоваться насилием, но оно не будет легитимным; могут они и стремиться к тому, чтобы воздействовать на руководство политического союза, на организацию порядка, на исполнение власти. Но политическим в точном смысле является то, что связано именно с порядком, постоянным легитимным порядком государства.

Итак, от действованиа Вебер переходит к социальному действованию, от него — к отношению, далее к закрытым отношениям, к отношениям по типу союзов, к союзам, в которых обеспечивается и которые основаны на господстве, далее к легитимному господству и легитимному насилию, монополии на которое имеют союзы на определенной территории. Они эту монополию могут потерять, средства господства могут быть экспропрированы, господство реорганизовано, но все равно порядок — порядок законного государства — *должен быть*. От категории действованиа путь к категориям союза, господства и государства не так уж долог, но это совершенно иной путь, чем тот, который проложен в экономической социологии Вебера.

Вопрос все же остается открытым: как быть с насилием. Голый порядок и грубое насилие вряд ли будут считаться легитимными как таковые. Вот почему под конец главы Вебер вводит понятие иерократического союза, власть которого над людьми не насильственная, а «психическая». Он распределяет *блага спасения*. Казалось бы, это дополнение или альтернатива государству. Но Вебер осторожен: лишь церковь является учреждением, рационально, как «учреждение спасения», и монополично иерократически господствующим, скорее всего, хотя и не обязательно, господствующим над людьми на определенной территории. Обязательно ли блага спасения находятся у церкви? Обязательно ли речь идет лишь о спасении в христианском смысле? Обязательно ли «психическое господство» связано с религиозным — как бы оно ни понималось — спасением? — На все эти вопросы ответ у Вебера отрицательный, и понятно, что социологии религии здесь не хватает так же, как и социологии политики (отчего, собственно, желание представить соответствующие главы «Хозяйства и общества» как развернутый ответ на эти вопросы всегда казалось столь естественным). Но «Политика как профессия» отчасти отвечает на эти вопросы.

В идее широкой демократической поддержки призванного политика, в идее харизмы как того качества, которое делает востребованной и возможной такую поддержку, мы видим прямое высказывание политико-социологического толка, в отличие от экономико-социологического. У порядка, у государственной бюрократической машины, у насилия есть не просто фактические средства обеспечить уважение к порядку, но также и некоторая собственная смысловая составляющая. Харизма в религиозном смысле открывала пути к трансцендентному, это была способность (благодатный дар) истолковать и научить правильному пути к спасению. Харизма в политическом смысле означала дар и способность сделать, так сказать, имманентное трансцендентным. Соединение волений действующих — обычная тема политической философии — истолковывается как поддержка призванного политика, имеющая иной характер и иные следствия, чем то, что может быть получено путем простого сложения. Суверен Гоббса, общая воля Руссо — это предшествен-

ники веберовской харизмы как политической категории, которая, заметим, при этом истолковывается, с одной стороны, вполне эмпирически, как реальная вера, реальная надежда на спасителя-политика, а с другой, — отчетливо отсылает к религиозной тематике, ибо связывает посюстороннее поведение не с моментальной хозяйственной потребностью, но с благами (политико-героически) понимаемого спасения. Почему вообще из массовой поддержки — тем более, если она выражена в таком феномене, как поведение избирателей, — может родиться понимание достоинств политика, которые напоминают о феноменах совершенно иного типа (религиозных) и других эпох (далеко отстоящих от модерна с его секуляризацией, превращением религиозного в светское)? — Эти вопросы разрабатываются уже *после Вебера*, но то, что ставятся они до сих пор, говорит не столько о неудовлетворительном характере предложенных им решений, сколько о том, что его социология радикальным образом поменяла всю рамку мышления о политическом, отчего важнейшие связи с традицией европейской мысли стали невидимыми для неискушенного взгляда. Реконструкция веберовской мысли именно в этом роде, то есть понимание Вебера не только как великого новатора, но и как наследника, продолжателя является трудным, увлекательным и, возможно, в научном отношении очень продуктивным делом.

8 Темпоральная феноменология Инакости у А. Шюца (или рождение феноменологического социологизма)

Примечательным фактом из истории социологической мысли можно считать то, что на всем протяжении ее развития тема и проблема «инакости» получила теоретическое оформление в особом роде понятия «Чужака», которое разрабатывалось, главным образом, в пределах немецкой и американской социологии; ни во французской, ни в британской (не говоря уже о прочих) социологических традициях «Чужак» не стал специальным предметом изучения и теоретизирования. Европейский вариант этого понятия представлен в социологии Г. Зиммеля (*Der Fremde*), а американские его разновидности находим, прежде всего, в теоретических исследованиях (города, прессы, расовых отношений, миграции и др.) Р. Парка (*The marginal man*) [146], [147], [148] и его последователей. Особого рода «гибрид» — европейско-американского «Чужака» (*Stranger, Homecomer, Estranged Native*) — представлен (что и не удивительно), можно сказать, самим «чужаком» — австро-американским социологом А. Шюцем в его феноменологической теории [149], [150]. Примечательно и то, что немецкая и американская социологии «Чужака» не только различаются в своей когнитивной перспективе анализа этого явления и в соотношении этого понятия с конкретными реалиями социальной жизни, но обнаруживают также и тесную взаимосвязь и преемственность. Как раз преемственность и теоретическая эволюция этого понятия в различных научных средах представляет, пожалуй, наибольший интерес для исследователей «Чужака». Во многом эту преемственность можно объяснить и стечением, (в том числе, и личных) обстоятельств, повлиявших на формирование американской концепции.

8.1 Рождение нового «Чужака» у Шюца: от эгологизма к интересубъективности

В немецкой (зиммелевской) традиции Чужак как социальный тип выстраивается в контексте социологии пространства и получает свое онтологическое обоснование в терминах функций, исполняемых в отношении «принимающей» группы.

В феноменологическом анализе «чужака» (*Stranger*) у А. Шюца проявился своеобразный возврат к зиммелевскому функционализму с его «группоцентрической» перспективой «чужака» как особого рода социального типа, соединяющего в себе *одновременно* близость и удаленность от группы. Но при этом Шюц, в отличие и от Зиммеля с его пространственным функционализмом, и от Парка с его «маргиналом» (где главной аналитической категорией, опять же, выступает пространственная — граница), использует в качестве основополагающей аналитической категории время.

Темпоральный акцент в толковании «чужака» Шюцем во многом обусловлен гуссерлианским наследием: переход от трансцендентальной методологии к социальной онтологии пролегает через все то же понятие «естественной установки» (объективности социального мира, как само-собой-разумеющегося). «Догматизм естественной установки» предполагает не только пред-данность окружающего мира (Umwelt), но и пред-данность Другого/других в этом мире, в «естественную установку» уже встроена трансцендентальная конструкция Другого. Процесс этого конструирования описан Гуссерлем пошагово в «Картезианских медитациях» [151] и нацелен, в конечном счете, на выход к интерсубъективности. Гуссерлианская постановка вопроса об «инакости» и о «другом» связана с посткартезианским поворотом к «иному». Здесь выведение «инакости» (otherness) как проблемы было продиктовано потребностью установить происхождение интерсубъективности как единственного основания объективной социальной реальности. Более конкретно это выразилось в попытках уловить связь ego и alter-ego.

Трансцендентальный подход к инакости характеризуется тем, что «другой» конструируется как «другой Я», alter-ego. Эгологизм утверждает опосредованный характер «другого» и его зависимость от ego. (И в этом эгологизм противоположен «диалогизму» буберовского толка, где Я и Другой синхронизированы как «Я и Ты», ни один из них не выступает предпосылкой другого, их слитность абсолютна).

В эгологической трактовке «другой» никогда не присутствует в моем сознании в том смысле, что я существую для него, он никогда не бывает примордиальным субъектом, а я его объектом. Он — лишь один из многих «других», с которым я разделяют общие черты, как с множеством других «других», он не уникален, не интимен. Но обладает равной мне примордиальностью. В этом заключается трансцендентальный солипсизм гуссерлианской эгологии. Каждый сам для себя начало всех начал. Связь Я и «другого» осуществляется через мир, а не непосредственно. Тем самым, интерсубъективность выстраивается как внутреннее отрицание.

Выполняя задачу преодоления «естественной установки» в социальной онтологии и преодолевая (или продлевая), таким образом, Гуссерля, Шюц переносит фокус с индивидуального процесса мышления на процесс мышления совместно-с-другими, заостряет внимание на различии «окружающего мира» (Umwelt) и «совместного мира» (Mitwelt). Шюц писал А. Гурвичу: «Нет никакого трансцендентального ego, но есть лишь тематическое поле, которое не является эгологическим» [152, Р. 263]. Путь к новой социальной онтологии пролегает не просто «от наивного объективизма к трансцендентальному субъективизму» и интерсубъективности с Другим (как у Гуссерля), но к интерпретации «совместного мира» с ego alter ego как с анонимным, не-индивидуальным типом. Так, у Шюца

вырисовывается тип Чужака (и производные от него типы Homecomer и Estranged Native), который выполняет особую функцию в шюцевской социальной онтологии — в столкновении с ним «культурный образец группы» проявляется как «естественная установка», создаваемая членами группы совместно в Mitwelt'e. «Человек отвечает *за* содеянное; но, с другой стороны, он отвечает *перед* кем-то — перед человеком, группой или инстанцией, которая заставляет его отвечать» [153, Р. 274].

8.2 «Чужак» против «культурного образца группы» — функционалистский итог

Функциональность «Чужака» у Шюца проявляется с применением темпорального критерия к его определению. Шюц представляет Чужака в контексте своей общей теории интерпретации «культурного образца социальной группы», с которой сближается Чужак. Определение Чужака у Шюца очевидно ориентировано на временной параметр: Чужак — это «взрослый *современник* (*Nebentmensch*), принадлежащий к нашей цивилизации, который стремится быть *постоянно* принятым в группе»; он отличается от приходящего визитера или гостя, от ребенка или дикаря, от представителя иной цивилизации. Сама ситуация приближения Чужака к группе рассматривается через понятие «культурного образца групповой жизни». Действующий индивид, по Шюцу, ощущает и испытывает социальный мир вокруг себя (*Umwelt*), прежде всего, как область своих непосредственных и возможных действий; с ними он соотносит и, ориентируясь на них, оценивает окружающие его внешние предметы и ситуации; сам действующий при этом для себя всегда в центре ситуации. Все, что ему надо — лишь умеренное знание о релевантных его действию элементах окружающего мира. Такое знание неоднородно: оно не согласованно, как не согласованы цели и желания самого действующего, которые во многом эмерджентны и меняются от ситуации к ситуации; оно не вполне ясно, ибо действующему достаточно эффективности его использования, он не исследует это знание вглубь; оно не лишено противоречий. В сущности, такое знание — это стандартная схема «культурного образца», которую действующий получает от предков (*Vorwelt*), учителей, власть предержащих как несомненное руководство к действию, оно принимается как само собой разумеющееся за отсутствием противоположного опыта. Это знание «рецептов» действия, составляющими которых является уверенность в том, что социальная жизнь с ее проблемами в сущности не меняется, что мы можем полагаться на прошлый опыт для решения настоящих и будущих проблем, что для успешного решения проблем достаточно и обобщенного знания о типах событий и, наконец, что и другие члены группы пользуются в своих действиях этими «рецептами». Члены своей группы — «Свои» — это те, кто разделяет и использует эти образцы интерпретации ситуаций, тогда как «Чужак» ставит под вопрос практически все эти условия,

для него культурный образец группы не является вполне достаточным и надежным основанием для действия. Почему?

Образец формируется в ходе его практикования, использования, апробирования членами группы на протяжении всей истории группы. Но Чужак не разделяет с группой этой истории, он может разделять с ней настоящее и будущее, но не прошлое. Традиция, культурная история группы не является частью его собственной биографии. Для членов группы Чужак — человек, исключенный из «нашего» прошлого, человек без истории. Или, как писал об этом Зиммель, «его не было в начале группы». Где же он был тогда, где его начало? Его начало в другом культурном образце, который для него уже относительно «естественен». Для Чужака есть «старый» и «новый» культурный образец, между ними временной интервал. Как этот интервал преодолевается, как происходит актуализация другого — «нового» — образца?

На первом этапе Чужак у Шюца преобразовывается из незаинтересованного наблюдателя в партнера, действующего участника, использующего в своем действии «новый» культурный образец. Этот образец теперь — не просто предмет его размышлений, находящийся в центре его когнитивного внимания, но сегмент социального мира, который он стремится освоить в действии — актуализировать для себя. Затем — благодаря практике использования, этот образец становится «ближе», заполняется живым (индивидуальным, уникальным) опытом, он конкретизируется в связи с определенными социальными ситуациями. Наконец, уже освоенный культурный образец отличается от представления об этом культурном образце в прошлом тем, что является уже интерпретацией для взаимодействия, а не знанием об образце — интерпретацией ради интерпретации. Освоенный образец предполагает в качестве условия своего применения реакции/ожидания со стороны членов группы, культурным образцом которой он является.

Первым результатом освоения чужаком «нового» образца является сомнение в своем собственном — «старом» — образце, в своем «само собой разумеющемся» знании. Прежняя «схема ориентации» оказывается непригодной в условиях новой группы. Чужак не может «перевести» координаты и ориентиры своего прежнего культурного образца в координаты нового. Почему? Во-первых, потому, что его положение в «прежней» группе отличается от положения в «новой»: в первой он находился в центре окружающего его мира, т.е. обладал своей определенностью в отношении культурного образца, был включен в него, занимая в нем «свое» место. Во второй — он «чужой», в том смысле, что не обладает определенностью, определенным статусом в группе, он представляет для группы «неопределенность». Во-вторых, сам «новый» культурный образец не обладает для чужака целостностью, чужак «переводит» для себя лишь те фрагменты нового образца, кото-

рые «переводимы» с точки зрения его «старого» образца, находят соответствия в старом образце и позволяют ориентироваться в конкретных ситуациях новой группы. Однако, это не все содержание нового образца, все непереваемо. За рамками возможного перевода содержания правил, норм, требований и проч. нового образца остается ситуативный контекст их применения, накопленный конкретный опыт его использования — история культурного образца. Благодаря именно контекстуальному использованию «своего» культурного образца члены группы могут применять его «рецепты» действия как типизированные, анонимные, автоматическое следование которым обеспечивает эффективность взаимодействия: нет нужды проверять образец на соответствие уникальным особенностям ситуации, проще принять его на веру. Так совместно конструируется «естественная установка».

Иначе обращается с этим образцом чужак. Прежде, чем действовать, он должен достичь уверенности в том, что предлагаемое новой схемой решение будет способствовать достижению искомого результата, учитывая его положение аутсайдера, который не владеет культурным образцом в целом и вполне, который видит в нем также непоследовательности и неясности. У чужака знание о «рецептах» иное — он должен знать не только «как» действовать, но и «почему именно так, а не иначе». Поэтому и партнеры по ситуации для него — не «типичные», обобщенные другие, но особые и уникальные индивиды, при этом эти особые черты и уникальность чужак склонен приписывать всей группе. В результате он выстраивает, в ходе освоения «нового» образца мир «псевдо-анонимности», «псевдо-типичности» и «псевдо-интимности». Неуверенность и чувство опасности сопровождают его поведение в таком мире. Культурный образец новой группы для чужака — это не «защитный кокон», но область приключений и исследований, не инструмент разрешения проблемных ситуаций, но сама проблема.

Как и Зиммель, Шюц выделяет в качестве основного качества чужака по отношению к группе его «объективность». Это не просто критическое отношение чужака к группе с точки зрения его собственного прежнего образца, но объективность, продиктованная необходимостью полноты знания о новом образце, его деталей, зачастую не заметных и не рефлекслируемых членами группы. Причина такой объективности — неспособность чужака вполне «вписаться» в рутинное, размеренное, практикование культурного образца группы, а причина такой неспособности кроется в его собственном «негативном опыте» неадекватности «само-собой-разумеющегося» знания, заложенного в его прежнем культурном образце. Следствие такой «объективности» выступает и «сомнительная приверженность» чужака к новой группе: он уже не может воспринимать как «естественный» и

«наилучший» ни новый образец группы, с которой он сближается, ни свой прежний образец.

Для Шюца основным параметром отношений чужака с группой выступает, с одной стороны (со стороны группы) его рутинизация в группе, группа «осваивает» (делает «своим») чужака, а с другой стороны (со стороны чужака) идет процесс непрерывного исследования и испытания культурного образца группы. Этот параметр можно было бы назвать, поэтому, функционально-темпоральным. Другими словами, время (в данном случае — его длительность и непрерывность в освоении культурного образца), которое выступает основным фактором различения «своего» и «чужака», выявляет (делает явственным, феноменом) социальное качество группы, то «большее», что превосходит «простую сумму индивидов» и в присутствии «чужака» перестает быть само собой разумеющимся.

8.3 «Вернувшийся домой» как «свой чужак»

Еще более явственно и парадоксально выявляется та роль, которую играют время и временные разрывы в формировании «инакости». Шюц прослеживает ее на примере другого социального типа, названного им *Homcomer* (вернувшийся домой, или «к себе»). Это может быть ветеран, вернувшийся с войны, путешественник, эмигрант, «блудный сын», словом, — тот, кто вернулся *к себе домой навсегда* (в отличие от «чужака», который «может прийти сегодня и уйти завтра»), и для которого эта группа — не «своя», но область неопределенного, неизвестного и лишь в перспективе, возможно, освоенного). *Homcomer* (назовем его «странник») — это «свой», вписанный в рутину культурного образца группы и имеющий в группе членство и свой статус, а значит, — он находится в непосредственном «мы-отношении» с группой, предполагающем как общность пространства-времени в соприсутствии (*face-to-face*), так и интимность этого отношения, которая в той или иной степени свойственна соприсутствию и обеспечивающая «повторяемость», «непрерывность», «возобновляемость» прерванного «мы-отношения».¹⁰⁶⁾ «Дом», или «своя» группа как начало координат, упорядочивающих для нас мир, таким образом предполагает: во-первых, общность пространства-времени, рутинизацию культурного образца ; во-вторых, интимное восприятие членами группы друг друга — как уникальной констелляции в живом настоящем, как части своей жизни; в-третьих, каждый из членов группы воспринимает шанс возобновления прерванных *face-to-face* отношений как «само собой разумеющийся». «Будучи рождены в социокультурном мире, мы находим в нем свои привязанности и должны примириться с ним. Этот мир нам пред-дан, и мы принимаем его безоговорочно,

¹⁰⁶⁾ Такого рода отношение характерно для «первичной группы», основные отличительные признаки которой были сформулированы Ч. Х. Кули и сводились к определению «близости» по двум параметрам — физическая близость, пространственно-временная, *face-to-face* соприсутствие и ментальная, «интимность»

как само собой разумеющийся» [154, Р. 145]. Именно эти характерные для «дома» свойства изменяются для того, кто его покинул. Почему в случае со «странником» не срабатывает третья особенность «дома», и почему его шанс возобновить отношения с группой так, как будто они и не прерывались, становится проблематичным? Потому, что он побывал в другой системе координат, соприкоснулся с *другим* культурным образцом и уже не переживает настоящее «мы-отношение» (в Mitwelt) как уникальное и единственно возможное. Это непосредственное со-переживание замещается у странника воспоминаниями, которые фиксируют состояние «мы-отношения» на момент, когда он покинул «дом». Вытесненный в прошлое «свой» культурный образец, соотнесенный со «своей группой» и с «мы-отношением» в этой группе, становится типизированным. У «странника» с членами его группы появляется неразделенная ими часть групповой жизни, не пережитая в непосредственном «мы-отношении». Следствием этого является изменение степени интимности отношения, т.е. степени достоверности и надежности знания о другом партнере отношения, между ними образуется область абстрактности, неопределенности, типизированности. За время его отсутствия группа изменилась, рутинно адаптировавшись к изменению, но неизменно оставаясь единым целым. Отсутствовавший же странник вынужден сравнивать нынешнее и прежнее, знакомое ему, состояние группы как два разных целых. В свою очередь, группа соотносит переживания странника со стереотипом той ситуации, в которой он побывал, не придавая значения уникальности деталей и переживаний странника. Возвращаясь домой, таким образом, странник испытывает двойной шок, двоякое несоответствие: своего прежнего представления о группе и ее культурном образце нынешнему, с одной стороны, и неадекватность (стереотипизированность) представлений группы о своем прошлом опыте. И хотя, как пишет Шюц, эмоционально этот шок может и не доминировать в отношениях странника с группой, но абсолютно точное возвращение к прежним отношениям недостижимо в силу «необратимости внутреннего времени». Возвратившийся домой становится «остраненным своим», или «очужденным своим» (Estranged Native), тем, кто стал чужим и странным для своих, да и для себя самого: он вынужден сравнивать себя прежнего с собой нынешним, себя в стереотипизированном представлении других и себя — обладателя непереводаемого в культурный образец своей группы опыта.

Шютцевское рассмотрение «чужака»/«странника» дополняет его описание временной перспективой, не убирая при этом функционалистской его трактовки: если основной функцией зиммелевского чужака было обозначение границ группы, то шютцевский чужак/странник — это тот, кто выявляет даже самые малозаметные изменения в жизни группы, он обозначает ее жизненный ритм, постоянно сравнивая «теперь» и «прежде».

Итак, поиски прочных оснований в описании социальной онтологии, попытки преодолеть «нереалистическое предубеждение о том, что наше знание мира есть наше частное дело, и что, следовательно, мир, в котором мы живем — это наш частный мир» [155, Р. 134], обнаруживают феномен Чужака. Чужак и сопутствующие типы (Homelcomer, Estranged Native) несут в теоретических построениях Шюца, помимо онтологической, и методологическую «нагрузку» — служат инструментом анализа (главным образом, темпорального) и преодоления «естественной установки».

9 Спонтанное сообщество: структуры порядка в толпе

9.1 Толпа как социологический феномен

Выше мы уже зафиксировали, указав на противоположность подходов Зиммеля и Лебона, что для последнего «толпа имеет совершенно новые черты, отличающиеся от тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в состав этого собрания. Сознательная личность исчезает... Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень определенные черты. Собрание в таких случаях становится тем, что я назвал бы, за неимением лучшего выражения, организованной толпой или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и подчиняющейся *закону духовного единства толпы*» [16, С. 131–132]. Для Лебона толпа — самостоятельное социальное явление, но лишь в том смысле, в каком в ее основе лежит психологический механизм обезличивания. Толпа становится металичностью, в одинаковой мере присутствующей в каждом ее члене. В толпе все люди оказываются одинаковыми и не властными над собой. Однако с социологической точки зрения такой подход страдает двумя недостатками. Во-первых, он не показывает реальное значение толпы для общества. Это значение, как показывает Зиммель, состоит в том, что на самом деле толпа является скорее не механизмом объединения людей в неразличимую массу, а инструментом усиления или даже производства все большей индивидуализации и отчуждения друг от друга, которая многократно усиливается в больших городах. «...независимость индивидуума, являющаяся результатом взаимной замкнутости и безразличия, составляющих условия духовной жизни наших широких кругов, нигде не чувствуется так сильно, как в тесной сутолоке больших городов, потому что физическая близость и скученность только подчеркивают духовную отдаленность» [14, С. 8]. Как принципиально городской феномен, которому благоприятствует сама организация мегаполисов, толпа для Зиммеля представляет собой особую общность, в которой физическая близость лишь заостряет безразличие, которое испытывают друг к другу незнакомые люди, оказавшиеся вместе. В толпе становятся неважны любые социальные дифференциации, поскольку каждый оказывается равным другому в качестве анонимного и, в конечном итоге, не имеющего ничего общего с окружающими члена складывающегося и распадающегося скопления людей. Таким образом, большие города, с одной стороны, способствуют образованию толп (в силу значения, которое приобретает в них улица, и в силу того, что они привлекают большое число представителей самых разных социальных групп, которые в условиях города предельно атомизируются) и, с другой, представляют собой особый социальный феномен, обусловленный опытом нахождения

людей в толпе — как реальной толпе на улице или в кафе, так и в виртуальной толпе многоквартирного дома.

Во-вторых, психологический подход Лебона неудовлетворителен для социологии потому, что он на самом деле не раскрывает механизм формирования толп, точнее, рассматривает этот механизм в качестве закона функционирования толпы. По мнению Г. Блумера, взаимное эмоциональное заражение участников толпы является не законом, а процессом: «Существенные ступени формирования толпы представляются достаточно ясными. Сначала происходит какое-либо волнующее событие, которое привлекает внимание и пробуждает интерес людей. Становясь все более поглощенным этим событием и подстрекаемым его возбуждающим характером, индивид склоняется к утрате части своего обычного самоконтроля и подчинению возбуждающему объекту. Далее этот вид переживания, пробуждая различные порывы и эмоции, создает определенную ситуацию напряжения, которая в свою очередь принуждает индивида к действию. Таким образом определенное число людей, стимулируемых одним и тем же возбуждающим событием, предрасположено самим этим фактом вести себя подобно толпе» [156, С. 177–178]. Затем возникает толчея, в ходе которой происходит передача членами толпы друг другу и усиление общего эмоционального состояния, после чего происходит «стимулирование и поощрение порывов, соответствующих цели толпы, вплоть до того момента, когда ее члены готовы действовать под их влиянием. Одобрение и кристаллизация порывов являются результатом взаимного возбуждения, которое имеет место в толчею в качестве отклика на лидерство (leadership). Оно имеет место главным образом как результат образов, пробужденных в процессе внушения и подражания и подкрепленных взаимным одобрением» [156, С. 178]. Тем самым, обращая внимание на то, как именно происходит процесс заражения в толпе, Блумер рассматривает формирование толпы с социологической точки зрения — как процесс, опосредованный социальными представлениями, складывающимися и подкрепляющимися в ходе совместной толчеи¹⁰⁷⁾.

Такое «перехватывание» обсуждения толп у психологов не только сделало толпы полноценным социологическим объектом, который продолжают изучать до сих пор¹⁰⁸⁾, но и позволило рассматривать толпы в качестве одного из ключевых феноменов современно-

¹⁰⁷⁾ Данная точка зрения перекликается с подходом М. Вебера, который утверждает, что в случае массового поведения говорить о социальном действии можно, только если есть осмысленная ориентация участников толпы на действия друг друга: «Известно также, что действие отдельного человека может определяться просто фактом принадлежности к сконцентрированной людской массе... Такое действие, реактивно порожденное влиянием массы как таковой, но не *соотнесенное* с ним по смыслу, не подходит под понятие „социальное действие“...» [157, С. 83]. Впрочем, как отмечает сам Вебер, граница между действием подражательным и действием, осмысленно ориентированным на другое действие, очень тонка, и для социологии оба типа поведения одинаково значимы.

¹⁰⁸⁾ См., например: [158], [159], [160], [161], [162], [163], [164], [165], [166].

сти, неразрывно связанным с усиливающейся урбанизацией. Одним из выразителей этого взгляда был Х. Ортега-и-Гассет, который в своей работе «Восстание масс» утверждал, что толпы стали не только повсеместным социальным явлением, но и подчинили себе культуру. «Толпа, возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, возникая, оставалась незаметной теснилась где-то в глубине сцены; теперь она вышла к рампе — и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет — один хор. Толпа — понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим „массу“. Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство — это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса — не выделенных ничем. Речь, следовательно, идет не только и не столько о „рабочей массе“. Масса — это „средний человек“. Таким образом, чисто количественное определение — множество — переходит в качественное. Это — совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип» [167, С. 45]. Уравнивание и усреднение, характерное для толп (которые переписываются Ортегой через понятие «массы»), оказывается принципом функционирования культуры и навязывается в качестве стандарта социального существования. Наглядное присутствие толп в повседневной жизни следует считать одновременно реальным социальным феноменом и знаком радикальной трансформации, которую претерпевает современная культура. Толпы диктуют обществу свои правила.

Ортега-и-Гассет, безусловно, доводит социологическую точку зрения на толпы до крайности, ставя толпы в центр общественных трансформаций, однако его радикальная позиция указывает на принципиальный мотив социологических описаний толп: толпа выступает для социолога своего рода наглядным воплощением общества. Социальные факты, которые призвал изучать Дюркгейм, имеют свои парадигмы в реальном мире, наиболее удобной из которых является толпа. Поскольку социальное нельзя наблюдать воочию (так как оно неразрывно связано с применением социологической методологии, который должна его вскрыть), наиболее близким к непосредственно данным образцам социального оказываются именно толпы, в которых можно наблюдать взаимодействие незнакомых между собой людей, функционирующих в качестве единого целого, которое превосходит сумму этих индивидов. При этом толпа становится неорганизованным феноменом, противостоящим организованным социальным структурам или процессам придания смысла, которые могут протекать в толпе. Эта неорганизованность может рассматриваться в качестве позитивного эффекта, создаваемого процессами подражания и заражения. То, что толпа заменяет социальную дифференциацию индивидуальной дифференциацией, которая усиливает одновременно отчуждение индивидов друг от друга и их сиюминутную

связь между собой на основании их взаимозаменяемости как простых физически различных единиц массы, обеспечивает социологию средствами для анализа толпы как непродолжительного и неорганизованного социального феномена, от которого радикально отличаются организованные и стабильные социальные структуры (например, общности, группы, классы, формы солидарности, формы обобществления и т.д.).

Такой социологический подход к толпе является, однако, не единственным. Альтернативу ему составляет подход, предполагающий рассмотрение толпы как организованного повседневного феномена.

9.2 Толпа как повседневный феномен

В своих описаниях социальных феноменов социологи опираются на повседневное знание толп как на непроблематизируемый ресурс, который позволяет создавать и понимать социологические описания. Знакомость толп, их очевидность становится залогом адекватности описаний, но перестает быть предметом анализа. Выявляя, как в толпе производятся социологически значимые феномены, социолог, тем самым, в самой технике своего анализа упускает процедуры производства знакомости толп для их участников. В целом для участника толпы сама реальность толпы оказывается недоступна. Соответственно, если мы покажем, что реальность толпы доступна для ее участников, тогда мы сможем описать толпу как организованный феномен, показав ту упускаемую существующими социологическими подходами форму упорядоченности, которая не может быть сведена ни к чему другому. Такая альтернативная точка зрения на толпы будет иметь большое теоретическое значение, поскольку позволит продемонстрировать существование таких видов спонтанной организации, которые обеспечивают стабильные свойства социального порядка, являясь при этом ситуационными по своему характеру. Толпа, в таком случае, может быть рассмотрена в качестве повседневного феномена, создаваемого ее участниками. Стабильность толпы как спонтанной общности заключается не в наличии опосредующих социальных представлений, формировании надындивидуальной целостности или осмысленной ориентации участников на действия друг друга, а в использовании процедур придания происходящему узнаваемого и анализируемого самими участниками повседневного характера. Для решения этой задачи можно использовать некоторые концептуальные ресурсы, выработанные в феноменологии и этнометодологии.

Важность тех концептуальных инструментов, которые предоставляют феноменология и этнометодология, обуславливается тем, что предлагаемые в рамках этих двух подходов понятия и исследовательские инструменты требуют наполнения обыденным опытом, без которого они оказываются бесполезны. Если сформулировать это свойство в виде

исследовательского принципа, то можно сказать, что феноменологические и этнометодологические понятия и принципы должны не абстрагировать повседневные феномены, а конкретизировать их. Они указывают на направления детализации рутинных практик. В этом отношении феноменология и этнометодологию можно рассматривать как два взаимосвязанных проекта, один из которых подготавливает другой. Феноменология, появившаяся хронологически раньше и оформившаяся, прежде всего, в качестве философской дисциплины, показала, каким образом можно двигаться «к самим вещам» [168, С. 17], т.е. к тому, что непосредственно дано в опыте в некоторой конкретной форме данности. Вещи, о которых говорит феноменология, — это интендируемые вещи, на которые направлено наше восприятие в повседневной жизни (в «естественной установке»¹⁰⁹⁾). Мы воспринимаем их как нечто, существующее «там», но речь идет не об отражении вещей, а об их конституировании воспринимающим сознанием. Открытие практик конституирования повседневных вещей составляет принципиальное достижение феноменологии, и весь феноменологический аппарат обеспечивает это открытие. Однако такой подход оставляет исследователя в области философской или психологической проблематики. Принципиальное развитие феноменологических техник анализа предложила этнометодология Г. Гарфинкеля, в которой вещи, о которых говорит Гуссерль, — это организационные вещи, которые конституируются социальными практиками, а не актами сознания. Следовательно, при обращении к этим вещам необходимы выявлять обыденные социальные процедуры их производства в качестве существующих «там», в мире повседневного опыта.

Толпа — очень удобный феномен для изучения с этнометодологической точки зрения, поскольку у толп нет никакого более широкого релевантного контекста в том же смысле, в каком, например, он есть у действий, совершаемых на рабочем месте. Толпа, знакомая по повседневному опыту, не сводится к какой-либо цели или объекту, а, скорее, представляет собой радикальный ситуационный феномен, детальное изучение которого позволяет обнаружить его сложную организацию. С этнометодологической точки зрения толпа — это совокупность ситуативных практик движения в толпе. Эти практики ситуативны не в том смысле, что они изобретаются каждый раз заново, а в том, что они направлены на производство ситуативных феноменов порядка, т.е. узнаваемости совершаемых участниками толпы действий.

Для своего анализа мы воспользуемся рядом понятий из феноменологии и этнометодологии. Ключевым будет понятие феноменального поля, как его обсуждает М. Мерло-Понти. Под феноменальным полем Мерло-Понти понимает организацию того, что дано сознанию в качестве вещей. На его взгляд, «лишь феноменология говорит о трансценден-

¹⁰⁹⁾ См.: [169].

тальном *поле*. Это слово означает, что пред взором рефлексии нет и не может быть полного мира или множественности развернутых и объективированных монад, что она располагает всего лишь частичным видением и ограниченными возможностями» [170, С. 95]. В повседневном мире мы воспринимаем мир лишь из того положения, в котором в данный момент находимся. Мир в таком случае является полем, в центр которого помещено тело действующего, причем помещено в качестве конституирующего элемента этого поля. Данный подход предполагает, что тело — это «система возможных действий, некое возможное тело, феноменальное „место“ которого определяется его задачей и его ситуацией» [170, С. 321]. Взаимосвязь возможностей телесного действия в мире и организации этого мира и будет составлять предмет нашего внимания при анализе феноменов порядка в толпе. Эта взаимосвязь, как показывает Мерло-Понти, определяется, с одной стороны, практическими задачами, которые решает в каждый момент времени действующий, и с другой, структурой ситуации, в которой эти задачи решаются. При этом, что важно, феноменальное поле меняется вместе с изменением положения тела. По мере разворачивания действия в мире конфигурация обстоятельств и неразрывно связанных с ними возможностей действия выстраивается в локальный порядок, производство которого осуществляется всеми участниками ситуации.

С понятием феноменального поля тесно связано понятие ориентированного объекта, предложенное Г. Гарфинкелем [171, Р. 179–181]. Если феноменальное поле заключается в упорядочивании объектов вокруг тела как центра, то сами эти объекты являются специфически ориентированными в отношении разворачивающейся практики. Их ориентированность указывает на то, что они воспринимаются действующим в качестве знакомых вещей, отсылающих одновременно к последовательности совершаемых действий и к другим объектам в соответствии с решаемой практической задачей. В качестве примера можно привести перемещение по хорошо знакомой улице, каждый объект которой, по мере его появления в феноменальном поле идущего, указывает, в качестве организации сменяющихся друг друга перспектив, на то, что совершается ходьба, а также на то, какой следующий объект появится в феноменальном поле. Если объект лишается ориентированности, он перестает давать подсказки действующему, который утрачивает понимание того, что он делает и где находится (как происходит, например, с человеком, оказавшимся на незнакомой улице). Ориентированность объектов, в таком случае, является локальным достижением, предполагающим такое упорядочивание текущей ситуации, при которой только в облике окружающих вещей мы обнаруживаем указания на адекватность или неадекватность наших действий.

Облик окружающих вещей, в свою очередь, складывается из подробностей, т.е. представляет собой фигурацию деталей, если воспользоваться еще одним термином Гарфинкеля. Понятие фигурации деталей обозначает тот аспект организации феноменального поля, который связан с доступностью ситуации действия для анализа действующим. В ходе действия действующий ориентируется не на поведение других участников и не на его смысл, а на анализируемость этих действий как фигураций деталей. Ориентированность организационных объектов, тем самым, свидетельствуется действующими в качестве упорядоченностей ситуационных подробностей действий и обстановки. Именно в фигурации деталей и посредством них участники находят и придают понятность происходящему. Следовательно, чтобы описать некоторое действие, например хождение в толпе, необходимо выявить те способы, которыми члены толпы упорядочивают ситуативные детали так, чтобы осуществлять ходьбу в толпе как рутинную практику.

Указанные феноменологические и этнометодологические понятия можно использовать для описания толп как организованных социальных феноменов. Эти понятия позволяют описывать толпу не с точки зрения формирующейся надиндивидуальной общности или процессов заражения или подражания, а с точки зрения ее феноменальной данности для участников. В этом случае толпа оказывается не монолитным сообществом, в котором каждый участник взаимозаменяем с другим, а совокупностью ситуативных действий, связанных с решением рутинных задач хождения в толпе. Толпа является привычной обстановкой для многих городских жителей, которые оказываются в толпах в общественном транспорте, на улицах, на стадионах, во время массовых мероприятий, на концертах и т.д. Толпа, в ее повседневной данности, — конкретный феномен, который описывается обыденным языком («Ну и толпа!»), однако при этом и описания данного феномена, и действия по его производству составляют часть самого этого феномена и не могут служить основанием для формулирования определения или модели толпы, разделяемого участниками. С точки зрения участников, толпа — не абстрактное целое, имеющее некоторые концептуальные границы, а ситуативное достижение. Даже граница толпы — вполне конкретный организационный объект, в отношении которого нужно предпринимать определенные действия. Социологи обычно используют самоочевидность толпы в качестве ресурса своих описаний, к которому они обращаются для придания понятности своим текстам. Однако если мы рассматриваем толпу феноменологически/этнометодологически, она оказывается последовательностью ситуативных упорядоченностей, т.е. фигурацией деталей, в которых участники узнают привычные организационные вещи. Далее мы попробуем некоторые из этих организационных вещей описать.

9.3. Методы производства порядка в толпе

9.3.1 Общие свойства толп

Ниже мы будем обсуждать наиболее привычный для больших городов формат толпы — толпу в метро. Этот вид толп характеризуется достаточно высокой динамичностью и значительными колебаниями плотности в течение дня. Кроме того, плотность толпы в метро зависит от архитектурных особенностей станций и переходов.

Обыденная толпа в метро может уплотняться и становиться более разреженной в определенных стандартных точках, например сразу перед эскалатором и сразу после него. При взгляде со стороны толпа кажется равномерным распределением людей по доступному пространству станции, перехода или эскалатора, однако толпа, как она дана в феноменальном поле участника, представляет собой разнородную организацию тел, вещей и пустот, которые указывают участнику на возможные последующие действия других и на его собственные возможности. Таким образом, участники толпы непрерывно создают определенный облик толпы, доступный из данного конкретного места каждому ее участнику.

Если попытаться обобщить повседневный опыт толпы, то он заключается в использовании заполненных и пустых мест, образующихся в результате действий участников. Эти заполненные и пустые места не являются объективно данными геометрическими участками. Они идентифицируются участниками в качестве мест, в которых возможны, совершаются или совершались определенные действия. Если и можно сформулировать правило, которому следуют члены толпы, то это будет правило минимизации пустот, с тем принципиальным уточнением, что пустоты воспринимаются только изнутри конкретного феноменального поля, и поэтому то, что в одной ситуации будет казаться пустотой, требующей заполнения, в другой будет восприниматься иначе. Например, в разреженной толпе большая дистанция между идущими не будет «пустотой». Участники не будут стремиться сократить дистанцию, чтобы эту пустоту заполнить. При этом для кого-то в той же толпе (например, для того, кто бежит) эта дистанция может быть наглядной пустотой, которой можно воспользоваться.

Пустоты и заполненные места могут быть различного размера. Их размер создается и оценивается в контексте разворачивающейся практики участников толпы. В этом отношении постоянно трансформирующееся заполненное и пустое пространство внутри толпы соотносится не с какой-то моделью происходящего (например, с набором правил этикета), а с ситуативными действиями. Несмотря на то, что в каждый момент времени в толпе складывается уникальная ситуация, для участников это всегда методическая уникальность, которая заключается в использовании определенных методов производства ста-

бильного порядка из любых актуальных деталей, которые оказываются доступны в результате их деятельности.

Рассмотрим некоторые типичные методы организации ходьбы в толпе. Эти методы лучше всего наблюдать в разреженных толпах, однако многие из последующих наблюдений релевантны и для более плотных и статичных толп. Мы объединим эти методы в тематические группы в соответствии с присущими им свойствами.

9.3.2 Скорость и траектория

В движущейся толпе различная скорость отдельных участников — первое, что бросается в глаза. Скорость может обуславливаться рядом факторов (возраст, физическое здоровье, особенности конституции, место в толпе, наличие вещей и др.), однако при этом скорость всегда рассматривается участниками не как индивидуальная характеристика человека, а как автохтонный феномен самой толпы, т.е. как характеристика, которой индивидуальный член толпы должен управлять в зависимости от складывающихся обстоятельств. Ожидается, что люди, идущие в толпе, будут учитывать скорость окружающих и не создавать для них помех. В некоторых ситуациях от отдельного участника толпы буквально требуется, что он шел «в ногу» с окружающими.

Несмотря на то, что скорость отдельных участников редко совпадает с абсолютной точностью, их скорость определенно влияет на скорость других. Часто можно наблюдать, как в толпе образуется цепочка более медленно идущих людей, которая выстраивается за медленно идущим человеком. Такие «заторы» довольно быстро разрушаются, но они свидетельствуют о том, что скорость отдельных участников толпы — это публично доступный феномен, который является одновременно функцией и условием скоростей других участников.

Даже самая плотная толпа предоставляет идущим возможность изменения своего положения за счет изменения скорости. Люди, которым по какой-либо причине надо пройти быстрее, используют образующиеся пустоты, что опережать других участников. Иногда эти пустоты складываются в своеобразные «коридоры», по которым члены толпы могут передвигаться даже бегом. Хотя собственно бег встречается редко, очень часто можно видеть, как люди, идущие быстрее окружающих, маневрируют в толпе, довольно сильно смещаясь к тому или иному ее краю. Маневрирование предполагает использование ситуативных возможностей прохода, предоставляемых текущими обстоятельствами, а также предугадывание этих возможностей исходя из скоростей и направлений движений других участников, находящихся в непосредственной близости. По мере движения человека в толпе перед ним открываются и закрываются проходы, которыми он может, а в не-

которых случаях и обязан пользоваться. Речь идет не только о моральном праве, но и о моральном обязательстве, поскольку создаваемый в толпе локальный порядок носит моральный характер, т.е. каждое действие участников воспринимается как действие, имеющие последствия для других участников, и потому ожидается, что оно будет выстраиваться с учетом этих последствий. Если какой-то участник не пользуется образовавшейся перед ним пустотой, это может означать (в плотной толпе), что он «задерживает» идущих следом, вследствие чего он оказывается доступен для гласных и негласных порицаний и замечаний.

В толпе существуют области с различным «скоростным режимом». Например, движение с краю толпы предоставляет больше возможностей для маневрирования и для ускорения (а также движения против толпы). Однако в любом случае возможности маневрирования связаны не только с открывающимися и закрывающимися проходами, но и с траекторией, по которой двигаются участники. Резкие смещение в сторону происходят очень редко и только в связи с исключительными обстоятельствами вроде внезапной остановки впередиидущего. Обычно траектория движения внутри толпы (если мысленно прочертить ее) представляет собой плавную линию. В то же время, эти линии являются прямыми лишь на небольших отрезках. Толпа — это не дорога с выделенными полосами. Участники постоянно немного смещаются в ту или иную сторону, чуть-чуть притормаживают и ускоряются в зависимости от складывающихся обстоятельств, причем делают это не синхронно. При этом необходимо учитывать, что в феноменальном поле идущего в толпе человека находятся не только люди, вещи, пустоты, стены и ограждения, попадающие в его поле зрения, но и то, что он сейчас не видит, например люди, которых он/она только что обогнал/а. Движение в толпе имеет темпоральную структуру, которая инкорпорирована в последовательность совершаемых действий, в том смысле, что, например, когда один участник обогнал другого, он/она теперь знает, что резкое торможение может привести к столкновению с идущим сзади. Прошое событие, воплощенное в последовательности действий, включается в текущую ситуацию как обстоятельство будущих действий.

Один из характерных для толпы феноменов, связанных со скоростью, — ходьба рядом. Иногда несколько незнакомых между собой участников какое-то время идут рядом, в одну линию (буквально плечом к плечу), что не создают для них существенных. Интересно, что при движении не в толпе люди стараются избегать такой пространственной синхронизации, поскольку обычно она свидетельствует о том, что так идущие люди «вместе». Однако в толпе подобное наблюдается постоянно, вероятно, потому что в толпе феноменальное поле ориентировано в отношении того, что происходит спереди, а не сбоку. Идущий в толпе учитывает то, как складывается организация толпы перед ним, в силу

чего перестают действовать применяемые в других ситуациях способы производства ситуативного порядка. Об этом свидетельствует и то, что в толпе идущие вместе очень редко имеют возможность идти рядом. Чаще они разделяются, иногда — на значительное расстояние, но в любом случае в толпе невозможно поддерживать необходимую синхронизацию пространственного положения двух и более людей. Такая синхронизация становится функций скоростей и траекторий участников, а не социальных единиц, вроде «друзья», «семья» и т.д.

9.3.3 Следование за другими

Другие люди, среди и вместе с которыми идет в толпе каждый участник, являются ориентированными объектами. Это означает, во-первых, что другие ориентируются на их действия и, во-вторых, что они ориентируются на других в своих действиях. Эта ориентация всегда имеет конкретные организационные формы. Одна из наиболее распространенных форм — следование друг за другом. Речь идет о следующем. Каждый участник может «опереться» на другого в отношении направления и скорости движения, т.е. идти «на поводу» у впередиидущего (который может быть прямо впереди или немного сбоку). Впередиидущий указывает идущему сзади, как ориентирована толпа и, соответственно, сам выступает не только обстоятельством движения в толпе, но и его условием. Он/она подсказывает идущему сзади, как тому/той двигаться. Идущие сбоку и сзади тоже дают такие подсказки, однако идущий впереди характеризуется тем, что можно двигаться по его/ее стопам, поскольку он/она уже столкнулся/ась с той ситуацией, с которой идущему сзади еще только предстоит столкнуться, и сориентировался/ась в ней. В толпе можно часто наблюдать такие ориентированные структуры, участники которых идут друг за другом. Их ориентация друг на друга не носит жесткий характер; они могут достаточно легко смещаться в сторону и ориентироваться на других впередиидущих, однако в любом случае наличие подобных ориентированных объектов позволяет идти в толпе, не уделяя постоянное внимание всему происходящему вокруг. Многие на ходу читают книгу или газету, играют в компьютерные игры, общаются в социальных сетях с помощью телефона или планшета, и делают все это, не смотря вперед, т.е. полагаясь на впередиидущего как на того, кто осуществляют ориентацию не только для себя, но и для тех, кто идет позади. Ориентированность отдельных участников толпы, таким образом, носит свидетельствуемый характер, доступный всем остальным участникам и используемый ими в качестве указания на знакомость складывающейся в каждый момент ситуации. Иными словами, следование за другими представляет собой специфичную для толпы форму производства привычности.

Наличие впередиидущего как ориентированного объекта в феноменальном поле участника связано с рядом процедур организации ходьбы в толпе, которые обусловлены практической задачей избегания столкновений. Одна из этих процедур — движение «в шахматном порядке», связанное с необходимостью выбора такого места для последующего шага, которое бы не приводило к наступанию на ноги другим участникам, но при этом не создавало слишком больших пустот между идущими. Эта задача решается следующим образом: участник выбирает такую траекторию движения, чтобы он был немного позади и между двумя впередиидущими, что позволяет ему делать шаги в промежутке между ними, так что его ноги оказываются на одной линии или даже впереди ног впередиидущих, но он/она при этом не наступает на них. Применимость и релевантность данной процедуры зависит от плотности толпы: в разреженной толпе можно идти прямо за другим человеком, но соблюдая дистанцию, позволяющие не наступать тому/той на пятки. При этом учитывается также, сколь плотной является толпа позади данного участника. При уплотнении толпы это становится невозможно. В том числе потому, что участник не может в плотной толпе создавать пустоты, выдерживая большую дистанцию до идущего впереди. Эта пустота будет либо тут же заполнена другим участником, либо рассматриваться в качестве легитимного повода для моральной (не только словесной, но и физической) реорганизации поведения «нарушителя».

Необходимо отметить, что следование не предполагает невнимания к деталям того, что происходит вокруг. Скорее, производится такая фигурация деталей, при которой в феноменальном поле впередиидущий(ие) становится своеобразным «поводырем», т.е. объектом, ориентирующим всю ситуацию и ориентированным в отношении деятельности хождения в толпе, совершаемой идущими сзади. Идущие сзади, безусловно, учитывают детали локальной организации, например ориентацию головы и тела впередиидущего, однако их феноменальное поле организовано иначе, нежели, скажем, поле тех, кто идет в первом ряду толпы. Следовательно, следует говорить об особой фигурации деталей, а не об ослаблении внимания к ним.

9.3.4 Остановки и торможения

Толпа ни в коем случае не представляет собой массу равномерно движущихся (или стоящих) людей. Она кажется таковой только для стороннего наблюдателя, изначально занимающего по отношению к толпе позицию человека, знающего, что это такое. Для участников толпа — это всегда непредсказуемая фигурация локальных деталей, выступающая условием и результатом их согласованных действий. Один из феноменов, который указывает на наличие у толпы сложной внутренней организации, — остановки и тормо-

жения, которые наблюдаются даже в очень плотных толпах. В редких случаях остановки и замедления идущих вызваны неожиданными событиями вроде спотыкания или оброненной вещи. Гораздо чаще торможения и остановки связаны с ситуативной структурой толпы. Одна из причин остановок и торможений — желание пропустить вперед другого человека. Один участник может хотеть оказаться впереди другого как потому, что он движется быстрее его/ее, так и потому, что он вынужден «протиснуться» вперед, когда остальные участники вынуждают его к этому. В этом случае ускоряющийся участник должен продемонстрировать тому, кто будет его пропускать, что он собирается или готов воспользоваться тем проходом, который для него создается. Видя, что другой либо идет быстрее, либо вынужден ускоряться, один из участников замедляется, пропуская его/ее вперед на образовавшееся пустое место. Такое действие может создавать сложности для идущих сзади, особенно если они идут быстро, поэтому тормозящий или останавливающийся должен замедляться постепенно, чтобы у позадиидущих было время сориентироваться и тоже начать замедляться. Те, кто в подобных ситуациях оказывается во второй «волне» торможений (к первой волне относится пропускающий или пропускающие), могут, впрочем, воспользоваться и другим методом: они могут поменять свою траекторию, чтобы обойти возникающий затор, если для этого есть возможность.

Торможение становится заметным на фоне «нормального» движения толпы, в ходе которого не происходит резких установок или ускорений. Оно оказывается в центре феноменального поля, когда возникает необходимость изменения «нормальных» процедур производства порядка ходьбы в толпе. Это «нормальное» движение, повторим, не является равномерным: толпа не движется единым фронтом, в ней есть более быстрые и менее быстрые участки, люди смещаются в различные стороны, ускоряются и замедляются, однако при этом возможности ускорения и замедления всегда являются локальными, т.е. зависят от конфигурации феноменальных деталей, производимых в данном конкретном месте толпы. Иллюстрацией этого тезиса служит ситуация торможения, вызванного не необходимостью пропустить другого участника, а желанием обогнать. Человек, который продвигается в толпе быстрее остальных, может внезапно «наткнуться» на спину впередиидущего, что вынудит его замедлиться. То, что он вообще может сталкиваться с подобными обстоятельствами, обусловлено тем, что в процессе движения через толпу каждый участник имеет доступ лишь к определенным феноменам, находящимися в пределах его видимости и слышимости. (Видимость и слышимость здесь следует понимать не физиологически, а организационно. То, что видит и слышит участник, связано не с особенностями его/ее органов чувств, а с тем, какие особенности происходящего релевантны для разворачивающейся здесь и теперь его/ее деятельности.) Участник, как тело среди других тел, видит

только определенных окружающих, которые движутся с понятными скоростями (можно предсказать, с какой скоростью они движутся дальше и чем эта скорость вызвана) и по темпорально организованным (протянутым в будущее) траекториям. То, кто идет в толпе быстрее остальных, сталкивается с необходимостью постоянной реорганизации феноменального поля в зависимости от складывающихся обстоятельств. Для него релевантны в первую очередь возможности прохода, т.е. пустоты между идущими. Ему доступна, конечно же, более широкая картина, чем только ближайшее пустое место, поэтому он может понимать, какие возможности перед ним будут открываться после серии последующих действий, однако ожидания могут не оправдываться и тогда, обогнав очередного участника толпы, спешащий (он не обязательно на самом деле спешит, но он доступен для подобного объяснения) сталкивается с человеком, идущим медленнее других, что вынуждает спешащего резко затормозить. Это редко создает проблемы для идущих за медленным участником, поскольку они уже ориентируются на скорость его движения в своих действиях. Движения спешащего в толпе, поэтому, представляет собой чередование замедлений и ускорений, часто сопровождающееся смещениями в стороны и обеспечиваемое практиками изменения конфигурации движущегося тела (например, когда спешащий «протискивается» в узкой проход между идущими, он характерным образом разворачивается боком, и эта деталь говорит окружающим о том, насколько он/она спешит).

Торможение и остановки, поскольку они составляют элемент производимого в толпе морального порядка, воплощаемого в ориентации каждого участника на других участников, могут становиться предметом негативной оценки и осуждения. Человек, вынуждающий других тормозить или останавливаться, особенно — если его/ее действия нельзя ситуационно оправдать (например, тем, что у него/нее упал телефон), вызывает недовольство. Такое же недовольство могут вызывать те, кто злоупотребляет способностью других участников учитывать действия других и «лезет вперед» (особенно в плотной толпе). Производство и поддержание знакомого облика вещей в толпе основывается на необходимости демонстрировать в локальной фигурации деталей моральную оправданность совершаемых действий.

9.3.5 Вливание в толпу и границы толпы

Границы толпы, как элемент феноменального поля, ставят перед участником ряд организационных задач. Например, когда необходимо присоединиться к толпе, возникает необходимость выбора места, в котором это делать. В целом плотность толпы и скорость стоящих в ее конце можно определить на взгляд, однако вливание в толпу требует не только таких оценок, но и использования определенных методов, позволяющих стать

участником толпы. Один из этих методов — смещение вдоль заднего края толпы, пока участник не окажется в месте, позволяющем минимизировать пустоту между ним/ней и другими участниками. Подходящий к толпе, в данном случае, может присоединиться почти в любом месте, которое в дальнейшем меняется с учетом действий других новоприбывших. При беглом взгляде на толпу новому участнику сразу видны «вогнутости», т.е. те места, в которые он/она может встроиться. Эти места определяются не геометрически, а локально, исходя из местоположения конкретного участника. Кроме того, новые участники могут присоединяться к толпе, пристраиваясь за другими новыми участниками толпы еще на подступах.

Разумеется, толпа предоставляет не только случайные, но и систематические возможности для вливания в нее и движения в ней. Края толпы являются в этом отношении пространством, в котором возникают возможности быстрого перемещения. Это связано с тем, что в разреженной толпе участники, находящиеся с краю, держатся на определенном расстоянии от стен или ограждений, тем самым создавая «разрядку» (пустое пространство) между толпой и стеной/ограждением, которой могут пользоваться желающие пройти быстрее. В плотных толпах эта пустота исчезает, однако края толпы все равно оказываются более быстрыми, поскольку движущимся с краю участникам нужно обходить других участников только с одной стороны.

Передний край или фронт толпы тоже отличается специфическими характеристиками. Во-первых, его участники могут достаточно свободно выбирать траекторию и скорость движения. Во-вторых, они знают, что за ними идут другие участники, о которых у них есть определенное представление, хотя всегда недостаточно точное по сравнению с представлением об идущих сзади у тех, кто находится в середине толпы. Идущие в середине толпы могут рассчитывать на то, что феноменальное поле идущих сзади распространяется не только на непосредственно идущих впереди (т.е. на них), но и дальше, поэтому даже следующие за впередиидущими учитывают тех, кто находится впереди впередиидущих. Люди в начале толпы не могут использовать соответствующие подсказки о том, как движутся идущие за ними, поэтому многие идущие в первом ряду идут немного быстрее идущих сзади, чтобы дать тем «запас ускорения». Кроме того, место в начале толпы может быть связано с рядом организационных обстоятельств, предшествующих данной ситуации, например с тем, насколько спешит человек или в каком вагоне он приехал на станцию. Эти обстоятельства специфически свидетельствуются другими участниками в деталях действий.

9.4 Толпа как спонтанное сообщество

Выше мы показали, с какими организационными объектами сталкиваются участники толпы и с помощью каких методов они эти организационные объекты производят. Производство этих организационных объектов заключается в создании знакомого (что не значит — одинакового) облика вещей и в ориентации на этот облик как на критерий адекватности совершаемых действий. Так рассмотренная толпа становится совокупностью феноменов порядка, воплощаемых в осуществляемых ситуативных практиках. Анализ, опирающийся на понятия феноменологии и этнометодологии, позволяет показать, что у толпы есть внутренняя организация, и эта организация не сводится к одному принципу или «закону», объясняющему формирование и функционирование толп. В отличие от традиционного социологического взгляда на толпу как на массовое явление, сама массовость которого очевидна, мы показали, что эта массовость производится в конкретных ситуациях и не является общей характеристикой любых совершаемых в толпе действий. Хождение в толпе — не менее искусная практика, чем те, которые привыкли изучать социологи (например, жизнь в семье или профессиональная деятельность). Благодаря такому подходу мы получаем возможность описывать и анализировать толпу как спонтанное сообщество, в основе единства которого лежат не общие представления и не общие действия, а ориентация участников друг на друга и учет друг друга в своих действиях. Эта ориентация, однако, носит не смысловой характер (как у Вебера). Она заключается в согласовании ситуативных действий посредством специфических процедур достижения порядка. Такой подход означает, что наблюдаемые в толпе феномены общности (на которых социологи основывают свои описания) производятся в ситуациях, а не предшествуют этим ситуациям. Общность или обобщенность происходящего в толпе заключается не в надындивидуальных последствиях действий, т.е. не в формировании единой «души», или в «заражении», или в «обезличивании», а в достижении знакомости и понятности происходящего в фигурациях ситуативных деталей.

Спонтанность обычно противопоставляют упорядоченности или организованности, что особенно пагубно сказывается на социологических исследованиях, где такая точка зрения приводит к игнорированию целого пласта социальных феноменов, объявляемых «неорганизованными». Как мы видели, применение к этим «малоинтересным» практикам специфических техник анализа позволяет установить наличие в них структур порядка, не сводящихся к традиционно понятным социальным структурам. Эти структуры становятся доступны для исследования, только если он/она рассматривает толпу с точки зрения опыта составляющих ее людей. Данный подход, однако, важен не только для изучения толп, но и позволяет в целом респецифицировать социологическую концепцию сообщества.

Даже такие вроде бы неспонтанные и надситуативные сообщества, как семьи, профессиональные группы, этнические группы и т.д., могут быть рассмотрены как спонтанные сообщества, производимые в конкретных ситуациях деятельности и общения. Надситуативность подобных форм общности — локальное достижение. Это зримая трансцендентность, воплощаемая в фигурациях деталей. Как участники толпы в каждый момент времени придают происходящему в толпе характер знакомости («толпности»), так и члены семьи придают в каждый момент времени своим взаимодействиям привычный характер («семейность»). В таком случае, задача социологического исследования должна формулироваться как задача описания повседневных методов и процедур, с помощью которых члены общества создают трансцендентные организационные объекты в конкретных ситуациях деятельности. Мы показали, что в феноменологии и этнометодологии существуют концептуальные инструменты, позволяющие эту задачу решать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем отчете мы, как уже несколько раз было сказано в начале, старались удержать или обрести заново *интуиции*, без которых социологическое исследование вырождается в пустую схоластику. Социология — это наука о действительности, но действительность то и дело ускользает от теоретиков, да и от них ли одних! Восстановить теорию в ее правах значит найти действительность¹¹⁰. Это не простая задача.

То, что происходит с фундаментальной социологией в последнее время, приводит на память известный в этнометодологии исследовательский прием, который называется «потеря наблюдаемого явления» — «losing the phenomenon». Для различения науки как «чисто когнитивного стиля» и «теоретического предприятия» и науки как предприятия исследовательского, ориентированного на приращение знания опытным путем, эта идея «исчезновения явления» необычайно важна. Для того, чтобы понять, как работает эксперимент и почему именно данная его версия подтверждает то или иное объяснение исследуемого явления, нужно знать, прежде всего, не его итоговую («правильную») версию, но весь тот путь ошибочных попыток его конструирования, который проходит исследователь и на котором он то и дело «теряет» исследуемое явление. Собственно эти ошибки и задают пределы, до которых эксперимент может что-то объяснять, и формируют так называемую «естественную (очевидную) объяснительную способность». «Естественная объяснительная способность» отличима от «классической»: эксперимент должен не только что-то объяснять и доказывать в контексте существующей научной теории («классическая объяснительная способность», наблюдаемое переводится на язык этой теории), но и реально работать, очевидным образом воспроизводить это объяснение в действии.

Фундаментальная социология как явление опыта рефлексии об «обществе» (что бы ни подразумевали под этим словом), демонстрирует сегодня эту способность к «исчезновению/восстановлению» в научном дискурсе (который можно трактовать и как эксперимент, проводимый над научной рефлексией и с научной рефлексией). Теоретически ориентированное исследование — это особая методологическая стратегия, которая исходит из целого ряда допущений. Первое из них — различение специфики социального исследования, которая заключается в том, что его предмет не имеет непосредственного эмпирического референта и всегда конструируется теоретически (хотя и с различной степенью абстрагирования). Что именно идентифицируется как проблема, подлежащая исследованию, что есть социальный факт и каким образом способом обосновывается релевантность его

¹¹⁰ См. название одной из самых замечательных социологических книг, вышедших в прошлом веке всего 50 лет назад — «В поисках действительности» Хельмута Шельски [172].

соотнесения с конкретным (измеряемым) объектом — вопросы теоретические. Это самое общее методологическое основание теоретически-ориентированных исследований в социологии. Можно их определить, проще, и как исследования, методология которых отдает себе отчет в этой специфике, т.е. как рефлексивные исследования.

Второе различие касается структуры исследования: в нем выделяют креативную и критическую фазы. Креативная предполагает основанное на теории конструирование гипотез относительно исследуемой проблемы; критическая — проверку этих гипотез непосредственно в исследовании или эксперименте. Соединение этих двух фаз дает в целом теоретически-ориентированное эмпирическое исследование. Наконец, различие теоретического и эмпирического исследования требует также соотнести теоретически-ориентированное исследование с различием фундаментальных и прикладных исследований. Фундаментальное исследование по определению теоретически ориентированно, тогда как прикладное можно назвать практически ориентированным. Исследование фундаментально до той степени, в какой оно на своей креативной стадии формулирует гипотезы и предсказания, исходя из теоретических допущений с целью прояснения, проверки и развития теории. Прикладным же исследованием в этой логике будет такое, которое выдвигает свои гипотезы из практической необходимости произвести компетентное решение конкретной проблемной ситуации, требующей непосредственного практического вмешательства.

То, чего мы достигли на данном этапе нашей работы, с одной стороны, находится в русле большого теоретического замысла, который реализуется уже несколько лет. Мы существенно продвинулись в исследовании категорий, необходимых для постижения социальной жизни, их истории и взаимной связи. Но кроме этого, мы получили некоторый новый важный теоретический опыт. Он состоит в открывающихся нам шансах постижения меняющихся обстоятельств всей социальной жизни в перспективе особым образом устроенного социологического знания. Это знание полезно для ориентации в мире, оно не догматическое, не чуждое для повседневных действий. Оно более скромное в части высших амбиций, но более обращено к задачам благоразумного правильного выстраивания стратегий поведения. В древности такое знание называли фронетическим. Его невозможно обрести, передавать и совершенствовать без элементов традиционно понимаемой теоретической работы. Но цели этой работы и оценка ее эффективности меняются. Наши исследования истекшего года задают рамку для будущих исследований, теоретические рассуждения и исторические экскурсы должны помочь фронетическим построениям в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Авдокушин Е. Ф. Глокализация как объективный процесс и корпоративная стратегия // Вопросы новой экономики. 2010. № 2. С. 4–17.
- 2 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника под общ. ред. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- 3 Global Modernities / Ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. London: SAGE, 1997.
- 4 Rumford C. European Cohesion, Globalization, Autonomization and the EU Integration // European Journal of Social Science. 2000. Vol. 13. № 2. P. 183–197.
- 5 Скотт Дж. Искусство быть неподвластным: анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. И. В. Троцук. М.: Новое издательство, 2017.
- 6 Mann M. The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- 7 Meduza. Как правильно — ИГИЛ или ДАИШ? // <https://meduza.io/cards/kak-pravilno-igil-ili-daish>
- 8 Yglesias M., Beauchamp Z. Why John Kerry and the French President Are Calling ISIS «Daesh» // <https://www.vox.com/2015/11/14/9734894/daesh-isis-isis>
- 9 BBC. BBC Rejects MPs' Calls to Refer to Islamic State as Daesh // <https://www.theguardian.com/media/2015/jul/02/bbc-rejects-mps-calls-to-refer-to-islamic-state-as-daesh>
- 10 Wood G. What ISIS Really Wants // <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980>
- 11 Ислам-Тудэй.ру. Путин сообщил, сколько россиян воюет за ИГИЛ // <http://islam-today.ru/novosti/2017/02/24/putin-soobsil-skolko-rossian-vouet-za-igil>
- 12 Жаворноков Д. МИД РФ назвал количество россиян, уехавших в Ирак и Сирию воевать за ИГИЛ // <https://riafan.ru/576420-mid-rf-nazval-kolichestvo-rossiyan-uehavshih-v-irak-i-siriyu-voevat-za-igil>
- 13 Фромм Э. Бегство от свободы / Пер. с англ. А. И. Фета. Nykoping: Philosophical arkiv, 2016.
- 14 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь / Пер. с нем. А. Кричевского // Логос. 2002. № 3. С. 1–12.
- 15 Тард Г. Мнение и толпа / Пер. с франц. под ред. П. С. Когана // Психология толп / Сост. А. К. Боковиков. М.: Институт психологии РАН, КСП+, 1998. С. 255–408.

- 16 Лебон Г. Психология толп / Пер. с франц. А. Фридмана и Э. Пименовой // Психология толп / Сост. А. К. Боковиков. М.: Институт психологии РАН, КСП+, 1998. С. 13–254
- 17 Сигеле С. Преступная толпа: опыт коллективной психологии / Пер. с франц. А. П. Афанасьева // Преступная толпа / Сост. А. К. Боковиков. М.: Институт психологии РАН, КСП+, 1999. С. 13–199.
- 18 Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ. М: РОССПЭН, 2001.
- 19 Кейзеров Н. М. Власть и авторитет: критика буржуазных теорий. М: Юридическая литература, 1973.
- 20 Бурлацкий Ф. М. Власть // Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
- 21 Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М: Наука, 1988.
- 22 Шпак В. Ю. Власть // Политология. Словарь. М.: РГУ, 2010.
- 23 Голосов Г. В. Сравнительная политология. СПб: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2001.
- 24 Крадин Н. Н. Политическая антропология. М: Логос, 2004.
- 25 Мельвиль А. Ю., Алексеева Т. А., Боришполец К. П., Ильин М. В., Миронюк М. Г., Соловьев А. И., Чанышев А. А. Политология: учебник. М: МГИМО, 2004.
- 26 Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, 1985.
- 27 Dahl R. The Concept of Power // *Behavioral Science*. 1957. Vol. 2. № 3. P. 201–215.
- 28 Осадчий Н. И. Социально-философский анализ власти как общественного явления: Дисс. на соискание ученой степени канд. филос. наук. М., 1983.
- 29 Аникевич А. Г. Политическая власть: вопросы методологии исследования. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1986.
- 30 Гвоздкова Т. А. Политическая власть как объект социально-философского анализа: Дисс. на соискание ученой степени канд. филос. наук. М., 1990.
- 31 Плотникова О. В. Власть и формы ее проявления. Уссурийск, 1996.
- 32 Хомелева Р. А. Природа политической власти. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов, 1996.
- 33 Халипов В. Ф. Власть: кратологический словарь. М.: Республика, 1997.
- 34 Бойцов М. А. Величие и смирение: очерки политического символизма в средневековой Европе. М: РОССПЭН, 2009.
- 35 Ауров О. В. О варварском и римском в характере королевской власти у вестготов (V — середина VI века). // *Теология и политика. Власть, Церковь и текст в королев-*

ствах вестготов (V — начало VIII в.): исследования и переводы / Под ред. О. В. Ауров и Е. С. Марей. М.: Дело, 2017. С. 25–75.

36 Бойцов М. А. (1995). Скромное обаяние власти (к облику германских государей XIV–XV вв.) // Одиссей: человек в истории. 1995: Представления о власти. С. 37–66.

37 Бессмертный Ю. Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории представления о власти // Одиссей: человек в истории. 1995: Представления о власти. С. 4–19.

38 Кильдюшов О. В. «Невидимая рука» и «хитрость разума»: классическая версия парадокса непреднамеренных последствий // Логос. 2007. № 5. С. 21–53.

39 Элиас Н. О процессе цивилизации. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада / Пер. с нем. А. М. Руткевича. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.

40 Hennecke H. J. «Human action, but not human design»: Evolution und spontane Ordnung als theoretische Perspektiven in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften // <http://www.progressfoundation.ch/de/document/266>

41 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла / Пер. с нем. Н. Полилова // Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 238–406.

42 Galiani F. Trattato della moneta. Napoli, 1750.

43 Galiani F. Über das Geld: Nach der 1751 in Neapel erschienenen Erstausgabe erstmals ins Deutsche übertragen und ausführlich kommentiert von Werner Tabarelli. Düsseldorf: Wirtschaft und Finanzen, 1999.

44 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Пер. с ит. А. А. Губера. М.; К.: REFL-book, ИСА, 1994.

45 Лифшиц М. Джамбаттиста Вико // Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Пер. с ит. А. А. Губера. М.; К.: REFL-book, ИСА, 1994. С. V–XXVIII.

46 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2000.

47 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Пер. с англ. И. И. Мюрберг под ред. М. А. Абрамова. М.: РОССПЭН, 2000.

48 Holzer B. «Gute Folgen, schlechte Folgen»: Nebenfolgen, perverse Effekte und Externalitäten aus handlungstheoretischer Perspektive. Arbeits-papier Nr. 1. München, 2001.

49 Розанваллон П. Утопический капитализм: история идеи рынка / Пер. с франц. А. Зайцевой под ред. В. Каплуна. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

50 Mandeville B. The Fable of the Bees / Ed. by F. B. Kaye. Oxford: Clarendon Press, 1924.

- 51 Мандевиль Б. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — благо для общества / Пер. с англ. Е. С. Лагутиной и А. Л. Субботиной. М.: Наука, 2000.
- 52 Гоббс Т. О гражданине / Пер. с лат. и англ. Н. А. Федорова и А. Н. Гутермана // Гоббс Т. Сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 270–507.
- 53 Хайек Ф. А. Индивидуализм: истинный и ложный // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок / Пер. с англ. О. А. Дмитриевой. М.: Изограф, 2000. С. 22–50.
- 54 Гельвеций К. А. Об уме // Гельвеций К. А. Сочинения. Т. 1. М.: Мысль, 1973. С. 143–603.
- 55 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение об искусствах и науках / Пер. с франц. Н. И. Кареева // Руссо Ж.-Ж. Избранные произведения. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1961. С. 41–64.
- 56 Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам / Пер. с англ. С. И. Церетели // Юм Д. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 53–655.
- 57 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Пер. с англ. А. Н. Гутермана // Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 3–545.
- 58 Мееровский Б. В., Субботин А. Л. Бернард Мандевиль и его «Басня о пчелах» // Мандевиль Б. Басня о пчелах. М., 2000. С. 282–289.
- 59 Смит А. Теория нравственных чувств / Пер. с англ. П. А. Бибикова. М.: Республика, 1997.
- 60 Лал Д. Непреднамеренные последствия / Пер. с англ. Т. Даниловой под ред. А. Куряева и Ю. Кузнецова. М.: ИРИСЭН, 2007.
- 61 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007.
- 62 Бауман З. Свобода / Пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство. 2006.
- 63 Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция / Пер. с англ. Т. Югай под ред. Б. Пинскера. М.: Новое издательство, 2007.
- 64 Блюнчли И. Современное международное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса / Пер. с нем. В. Ульяницкого и А. Лодыженского / Под ред. Гр. Л. Камаровского. М.: В Типографии Индриха, 1877.
- 65 Bluntschli J. C. Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt. Nördlingen: Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung, 1878.

- 66 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1882.
- 67 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов / Под ред. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008.
- 68 Hall W. E. A Treatise on International Law. Oxford: Clarendon, 1890.
- 69 Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- 70 Liszt F. v. Das Völkerrecht. Systematisch dargestellt. Berlin: Springer, 1915.
- 71 Brierly J. L. The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace. Oxford: Clarendon Press, 1928.
- 72 Carter B., Weiner A. S. International Law. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2014.
- 73 Clapham A. Brierly's Law of Nations: An Introduction to the Role of International Law in International Relations. Oxford: Clarendon, 2012.
- 74 Oxford Public International Law // <http://opil.ouplaw.com/>
- 75 Shlesinger R. B. Research on the General Principles of Law Recognized by Civilized Nation // American Journal of International Law. 1957. Vol. 51. № 4. P. 734–753.
- 76 Статут Международного Суда ООН // <http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml>
- 77 <http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-xiv/index.html>
- 78 Толстых В. Л. Курс международного права: учебник. М.: Wolters Kluwer, 2009.
- 79 Scott J. B. Introduction // The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 1907... / Ed. by J. B. Scott. Oxford: Clarendon Press, 1916. P. XVII.
- 80 Russian Circular Note Proposing the First Peace Conference // The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 1907... / Ed. by J. B. Scott. Oxford: Clarendon Press, 1916.
- 81 Address of his Excellency Mr. Staal, President of the Conference, at the Session of May 20, 1899 // The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 1907... / Ed. by J. B. Scott. Oxford: Clarendon Press, 1916.
- 82 Engel J. Der Wandel in der Bedeutung des Krieges im 19. und 20. Jahrhundert // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1968. Bd. 19. S. 468–486.
- 83 Grewe W. The Epochs of International Law. Berlin: Walter de Gruyter, 2000.
- 84 Triepel H. Völkerrecht und Landesrecht. Meisenheim/Glan: Anton Hain, 1958.
- 85 Poscher R. Heinrich Triepel // Weimar: A Jurisprudence of Crisis / Ed. by A. Jacobson, B. Schlink. Berkeley: University of California Press, 2000. P. 171–188.
- 86 Triepel H. Droit international et droit interne. Paris: Panthéon-Assas, 1998.

- 87 Portmann R. *Legal Personality in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- 88 Bogdandy A. v. *A Bird's Eye View on the Science of European Law: Structures, Debates and Development Prospects of Basic Research on the Law of the European Union in a German Perspective* // *European Law Journal*. 2000. Vol. 6. № 3. P. 208–238.
- 89 Hull I. S. *A Scrap of Paper: Breaking and Making International Law during the Great War*. Ithaca: Cornell University Press, 2014.
- 90 Kaufmann E. *Das Wesen des Völkerrechts und die clausula rebus sic stantibus: rechtsphilosophische Studie zum Rechts- Staats- und Vertragsbegriffe*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1911.
- 91 Benton L., Ford L. *Rage for Order: The British Empire and the Origins of International Law, 1800–1850*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- 92 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) // http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
- 93 *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary* / Ed. by O. Dörr, Chr. Schmalenback. Berlin: Springer, 2012.
- 94 Gilbert M. *The First World War: A Complete History*. Rosetta Books, 2014.
- 95 Weber M. *Deutschland unter den europäischen Weltmächten* // Weber M. *Gesammelte politische Schriften*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1920. S. 73–93.
- 96 Weber M. *Gesammelte politische Schriften* / Hrsg. von J. Winckelmann. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1988.
- 97 Weber M. *Zur Frage des Friedensschließens* // Weber M. *Gesammelte politische Schriften* / Hrsg. von J. Winckelmann. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1988.
- 98 Weber M. *Zwischen zwei Gesetzen* // Weber M. *Gesammelte politische Schriften* / Hrsg. von J. Winckelmann. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1988.
- 99 Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1980.
- 100 Вебер М. *Основные социологические понятия* // *Социологическое обозрение*. 2008. Т. 7. № 2. С. 89–127.
- 101 Петерс А. *Правовые системы и процесс конституционализации: новое определение соотношения* // *Дайджест Публичного Права Института Макса Планка*. 2013. Вып. 2. С. 239–332.
- 102 Peters A. *Rechtsordnungen und Konstitutionalisierung: Zur Neubestimmung der Verhältnisse* // *Zeitschrift für öffentliches Recht*. 2010. Bd. 65. S. 3–63.
- 103 Kelsen H. *Reine Rechtslehre*. Tübingen: Mohr (Siebeck), 2008.

- 104 Jakab A. Kelsens Völkerrechtslehre zwischen Erkenntnistheorie und Politik // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Rechts und Völkerrecht. 2004. Bd. 64. S. 1045–1057.
- 105 Schmitt C. Die Kernfrage des Völkerbundes. Berlin: Dümmler, 1926.
- 106 Schmitt C. Die Kernfrage des Völkerbundes (1924) // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978 / Hrsg. von G. Maschke. Berlin: Duncker & Humblot, 2005.
- 107 Schmitt C. Positionen und Begriffe: im Kampf mit Weimar — Genf — Versailles: 1923–1939. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1940.
- 108 Jestaedt M. Hans Kelsens Reine Rechtslehre. Eine Einführung // Kelsen H. Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik. Tübingen: Mohr (Siebeck), 2008. S. XII–XVI.
- 109 Kelsen H. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- 110 Kelsen H. Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1922.
- 111 Kelsen H. Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre. Tübingen: Mohr (Siebeck), 1928.
- 112 Kelsen H. Peace through Law. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944.
- 113 Шмитт К. Номос земли в праве народов *ius publicum europaeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2008.
- 114 Schmitt C. Die völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1940.
- 115 D’Ors A. La posesión del espacio. Madrid: Civitas, 1998.
- 116 Domingo R. The New Global Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- 117 Старобинский Ж. Действие и реакция: жизнь и приключения одной пары / Пер. с франц. А. В. Шестакова. СПб.: Владимир Даль, 1998.
- 118 Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955.
- 119 Lilla M. The Shipwrecked Mind: On Political Reaction. New York: The New York Review Books, 2016.
- 120 Cortés J. D. Discurso pronunciado en el congreso el 4 de enero de 1849 // Cortés J. D. Obras. Tomo tercero. Madrid: Tejado, 1854.
- 121 Maistre J. de. Considération sur la France. Londres (Bâle), 1797.
- 122 Hirschman A. O. The Rhetoric of Reaction. The Belknap Press, 1991.

- 123 Альтюссер Л. Ленин и философия / Пер. с франц. Н. Кулиш. М.: Ad Marginem. 2005.
- 124 Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Праксис. 2000.
- 125 Vollrath E. Lenin und Philosophie. Wuppertal: Henn.
- 126 Vollrath E. Was ist das Politische? Eine Theorie des Politischen und seiner Wahrnehmung. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003.
- 127 Jameson F. Lenin and Revisionism // Lenin Reloaded / Ed. by S. Budgen, S. Kouvelakis, S. Žižek. Durham: Duke University Press. 2007. P. 59–73.
- 128 Шмитт К. Понятие политического / Пер. с нем. А. П. Шурбелёва и Ю. Ю. Коринца под ред. А. Ф. Филиппова. СПб.: Наука, 2016.
- 129 Магун А. В. Единство и одиночество: курс политической философии Нового времени. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- 130 Koselleck R. Kritik und Krise: Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973.
- 131 Каутский К. Терроризм и коммунизм. Berlin: Ladyschnikow Verlag, 1919.
- 132 Radek K. Proletarische Diktatur und Terrorismus. Hamburg: Hoym, 1920
- 133 Троцкий Л. Д. Терроризм и коммунизм. Петроград: Государственное издательство, 1920.
- 134 Троцкий Л. Д. Терроризм и коммунизм. М.: Литрес, 2009.
- 135 Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Политиздат, 1969. С. 1–120.
- 136 Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Политиздат, 1981. С. 1–104.
- 137 Ленин В. И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи советской власти» // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 36. М.: Политиздат, 1969. С. 127–164.
- 138 Шмитт К. Диктатура / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. Д. В. Кузницына. СПб.: Наука, 2005.
- 139 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- 140 Филиппов А. Ф. Ханс Фрайер: краткий очерк жизни и творчества // Фрайер Х. Теория объективного духа: введение в культурфилософию / Пер. с нем. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2013. С. 326–356.
- 141 Mommsen W. Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920. Tübingen: Mohr (Siebeck), 2004.

- 142 Kaesler D. Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn. München: Beck, 2014.
- 143 Derman J. Max Weber in Politics and Social Thought: From Charisma to Canonization. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- 144 Baehr P. Caesar and the Fading of the Roman World: A Study in Republicanism and Caesarism. London: Transaction, 1998.
- 145 Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015.
- 146 Park R. Human Migration and the Marginal Man // American Journal of Sociology. 1928. Vol. 33. № 6. P. 881–893.
- 147 Park R. Personality and Cultural Conflict // Publications of the American Sociological Society. 1931. Vol. 25. P. 95–110.
- 148 Park R. Introduction // Stonequist E. The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Charles Scribner's Sons, 1937.
- 149 Schuetz A. The Stranger // Schuetz A. Selected Papers II: Studies in Social Theory / Ed. by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. P. 91–105.
- 150 Schuetz A. The Homecomer // Schuetz A. Selected Papers II: Studies in Social Theory / Ed. by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. P. 106–119.
- 151 Гуссерль Э. Картезианские размышления / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Наука; Ювента, 1998.
- 152 Philosophers in Exile: The Correspondence of Alfred Schutz and Aron Gurwitsch, 1939–1959. Bloomington: Indiana University Press, 1989. P. 263.
- 153 Schuetz A. Some Equivocations in the Notion of Responsibility // Schuetz A. Selected Papers II: Studies in Social Theory / Ed. by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. P. 274–276.
- 154 Schuetz A. Don Quixote and the Problem of Reality // Schuetz A. Selected Papers II: Studies in Social Theory / Ed. by A. Brodersen. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962. P. 135–158.
- 155 Schuetz A. Reflections on the Problem of Relevance. New Haven: Yale University Press, 1970.
- 156 Блумер Г. Коллективное поведение / Пер. с англ. Д. Водотынского // Американская социологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 168–215.
- 157 Вебер М. Хозяйство и общество. Т. 1: Социология / Пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.

- 158 Borch Ch. *The Politics of Crowds: An Alternative History of Sociology*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- 159 Collins R. *Violence: A Micro-sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- 160 Drury J., Stott C. J. T. *Crowds in the 21st Century: Perspectives from Contemporary Social Science*. New York: Routledge, 2013.
- 161 Easley D., Kleinberg J. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- 162 Hughes H. *Crowd and Mass Behavior*. Boston: Allyn & Bacon, 1972.
- 163 McPhail C. *The Myth of the Madding Crowd*. New York: de Gruyter, 1991.
- 164 Sandine A. *The Taming of the American Crowd: From Stamp Riots to Shopping Sprees*. New York: Monthly Review Press, 2009.
- 165 *Crowds* / Ed. by J. Th. Schnapp, M. Tiew. Stanford: Stanford University Press, 2006.
- 166 Wright S. *Crowds and Riots: A Study in Social Organization*. Beverly Hills: Sage, 1978.
- 167 Ортега-и-Гассет Х. *Восстание масс* / Пер. с исп. А. М. Гелескула // Ортега-и-Гассет Х. *Избранные труды* / Под общ. ред. А. М. Руткевича. М.: Весь Мир, 1997. С. 43–163.
- 168 Гуссерль Э. *Логические исследования*. Т. II (1) / Пер. с нем. В. И. Молчанова. М.: Гнозис, Дом интеллектуальной книги, 2001.
- 169 Гуссерль Э. *Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии*. Книга первая / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Академический Проект, 2009.
- 170 Мерло-Понти М. *Феноменология восприятия* / Пер. с франц. под ред. И. С. Вдовиной и С. Л. Фокина. СПб.: Ювента, Наука, 1999.
- 171 Garfinkel H. *Ethnomethodology's Program: Working Out Durkheim's Aphorism*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2002. P. 179–181.
- 172 Schelsky H. *Auf der Suche nach Wirklichkeit*. Düsseldorf: Diederichs, 1965.